

НОВИНКИ • СОВРЕМЕННОСТИ •

АЛИТЕТ
Немтушкин



**МНЕ СНИТСЯ
НЕБЕСНЫЕ
ОЛЕНИ**

На память техникуму
от Выпускников 1987г.
группы 3-Б-3

КОМАНДА Фут
ПРОФОРМ. ДИП.
СТАРОСТА: ШИМ-

НОВИНКИ • СОВРЕМЕННОСТИ •

Алитет
Немтушкин

**МНЕ СНЯТСЯ
НЕБЕСНЫЕ
ОЛЕНИ**

ПОВЕСТИ



«СОВРЕМЕНИК»
МОСКВА, 1987

Рецензент Э. Сафонов

Немтушкин А.

Н50 Мне снятся небесные олени: Повести./Предисл. Ю. Сбитнева.—М.: Современник, 1987.—222 с.—(Новинки «Современника»).

Алиет Немтушкин известен читателю как поэт, автор нескольких поэтических сборников. В книгу «Мне снятся небесные олени» вошли первые прозаические произведения эвенкийского писателя.

Действие повестей разворачивается в маленьких, затерявшихся в глухой тайге эвенкийских селениях в трудные послевоенные годы. Лирическая, трогательно-обаятельная и вместе с тем сурово-сдержанная повесть «Мне снятся небесные олени» рассказывает о сложном и прекрасном времени в жизни человека — времени познания окружающего мира, о первых соприкосновениях с жизнью. В центре повествования судьба мальчика-эвенка, отец которого погиб на фронте.

Повесть «Солнечная невестка» привлекает интересным сюжетом, в основу которого положены реальные события, поэтическими описаниями тайги, этнографическими подробностями.

Н 4702680000—062
М106(03)—87 244—87

ББК84Сиб.7
С(Сиб)

* * *

В те лета, когда автора этой книги — Алитета Немтушкина бес- покойное наше время носило по свету, как сухое сосновое семечко, мне довелось жить на его родине.

Среди редких в тех местах болот, среди рудовых сосновых борев и теперь уже реликтовых кедровых урочищ рождается одна из красивейших и удивительных рек иркутского Севера — река Непя. Тысячи ручьев, сотни речушек питают ее начало, ее исток. И одна из них — Ирэскит, в устье которой с незапамятных времен основали люди свое жилище — стоянку, а точнее и образнее — свое стойбище на долгом пути из невообразимых далей неолита в нынешний век.

Возникали и рушились сверхгосударства, приходила на смену одной цивилизации другая, менялся лик Земли и мироздания, но все так же высоко горел живой огонь человеческой общности — рода на том стойбище. И поколение за поколением проходило свой земной круг, заботясь о сохранении не просто своей жизни, но и жизни тех, кто обязательно придет следом, оставляя им все то, что было добыто предками в общении с Матерью Природой. «Сохрани для другого» — таким был главный закон Хэйкогиров, людей того стойбища.

Эвенкийское слово «хэйкогир» переводится на русский как тундровый человек. Тундровые люди среди бескрайних просторов тайги! Почему так? Ведь до северных тундр, до их великих просторов, до бесконечных всхолмленных равнин, покрытых бесчисленными озерами и болотами, тысячи и тысячи километров. А сам род, живущий тут с незапамятных времен, не столько оленеводческий, сколько охотничий, считает домом своим не северную тундру, но сосновые и лиственничные урманы в низовьях рек Непы и Катанги.

Род Хэйкогиров извечно любил тайгу, лесные родники и реки, и еще... небо. А небо — ночное ли, утреннее, вечернее ли с первой яркой звездой Хэглен лучше всего наблюдать с чистых просторов безлесных марей, калтусов, луговин, что названы в народе еще и тундрами. И если очень внимательно проследить за кочевьем рода Хэйкогиров, то можно легко заметить, что каждое стойбище их располагается подле таких вот безлесных среди тайги пространств.

Есть такая тундра и вблизи стойбища Ирэскит, где зимою 1939 года родился Алитет Немтушкин. Правда, место рождения в паспорте значится несколько видоизмененным на русский манер — стойбище Иришки, да и дата 12 ноября 1939 года вызывает сомнение. Поскольку бабушка будущего писателя — сколь тихая, столь и мудрая, — бабушка Огдо, вполне определенно утверждала, что внук был найден под колодиной, в лесу у стойбища Ирэскит, в самый канун месяца Плеца, то есть под наш Новый год. Бабушка Огдо никогда и не в чем не ошибалась.

Может быть, от нее, старой и мудрой, услышал я когда-то одну из удивительнейших легенд об общности всех людей и народов — Мани, жившей на просторах доисторической Сибири. А дедушка Че-

рончи, один из немногих оставшихся в живых из рода Хэйкогиров (все молодые мужчины рода не вернулись с войны), так говорил:

— У каждого человека свой небо должен быть над головою. Чтобы глянул и видел — есть небо. Небо — книжка большой, всю жизнь читаешь — не прочтешь. Небо чистый — знаешь, куда идти! Небо грязный — совсем дурак! Шибко не хорошо, когда небо грязный.

Удивительные отношения были у таежных людей с небом. Почти каждый из них досконально знал звездную карту, по звездам прокладывались пути извечных кочевий, предсказывалась погода, урожай на белку и соболя, на грибы и ягоды; с небом и звездами были связаны удивительнейшие легенды, в которых человек свободно преодолевал громадные пространства; устремленными в зенит, похожими на современные космические ракеты строились культовые чумы.

Бежит, несет свои воды в Большую реку Ирэскит, чуть ниже места их слияния впадает в Непу еще одна речка — Сома. Речка, в которой, по родовым преданиям, текла когда-то необычайная вода, дающая людям непобедимую силу и знания. Испивший из Сомы способен проникать разумом в иные мироздания и времена. Эвенкийское слово «сома», переведенное на русский язык, означает — сверхсильный.

Но вот открываю древнейший литературный памятник человечества — «Ведийские гимны» и читаю:

«Самосладким самопьянящим очищайся потоком Сома...»

Что это? Всего лишь странная случайность в совпадении слов? Или что-то иное, связывающее времена и культуры, народы и континенты, легенды и мифы, разум и сердце?!

А сколько хранит еще в себе тайн крохотная родина крохотного сообщества людей, некогда именовавших себя Хэйкогирами? Меняется лик Земли, истекает Время, но все еще горят, высоко горят в недалеком прошлом костры предков Алитета Немтушкина, о которых так мало знает наш взмутненный современный мир.

Долг писателя — сына своего народа — рассказать о них. Они имеют полное и высокое право на Память о себе.

Юрий Сбитнев

Светлой памяти бабушки
моей — Огдо-Эки, Старшей
Сестры всех токманских эвен-
ков — с сыновьей любовью по-
свящаю

МНЕ СНЯТСЯ НЕБЕСНЫЕ ОЛЕНИ

* * *

Суринда — моя родина...

Несколько маленьких, потемневших от времени и непогоды избушек и серых обветренных чумов притулились на берегу говорливой, «никогда не закрывающей рта» речушки. Когда-то, давным-давно, речка эта, наверное, богата была сигом, и сородичи мои, прикочевав к ней и наевшись досыта вкусной серебристой рыбы, не долго думая нарекли ее — Суринда, сиговая значит.

Рядом с домишками, с чумами разметали свои косматые руки сосны и лиственницы, а за рекой, на пригорке — поднялись, тянутся к солнцу березки. Обычно высокие места любят сосенки, а тут почему-то ветали березки. Смотришь на них и думаешь: заиграй сейчас древний наш пэнггивкэвун¹, они — тотчас пустантятся в пляс, закружатся хороводом, исполняя старый наш танец «ёхорьё».

Иные думают, что Ночная Сторона Земли² есть Ночная Сторона — снега белые да морозы лютые. Но это не так. Кто хоть раз побывал здесь, тот землю нашу никогда не забудет. Сниться станет она по ночам и манить к себе. Здесь просторно душе и глазу, легко и вольно дышать. Ветер доносит терпкий запах смолы и зелени леса, вдыхай, сколько хочешь!.. А белые ночи? О эти белые ночи! Разве забудешь их?! Солнце — огненный шар! Целый день оно в небе: над лесами, над озерами, над этой рекой. К осени след его остается на косматых бровях глухарей, на крыльях селезней, на бруснике, на листьях березы... А там, чуть в стороне от Суринды, на болотах — тоска журавля, на озерах — грусть лебедя, над полянами — смех жаворонка. О, до чего же здесь хорошо!.. Здесь, в Суринде, и вода-то в речке светлей да студеней, и хлебушко-то вкуснее и слаще...

Впрочем, рассказ мой не о ней, милой сердцу Суринде, рассказ мой о людях ее, о моих земляках...

¹ Пэнггивкэвун — эвенкийский музыкальный инструмент.

² Ночная Сторона Земли — Север.

Откуда-то из-за туч несется:

— Га... Га!.. Га!..

Это поют песню прощания гаги — белые лебеди.

— Ка... а... ра... а... ав!.. Ка... а... ра... а... ав!..

Это плачут песню прощания карави — черные журавли.

Все. Кончилось лето. Улетают последние птицы, лебеди и журавли. Ветер стал колючим, недобрый. Вот-вот закружатся в воздухе белыми комариками снежинки. Укроют они мягким заячьим мехом землю, и уснет она в уютном тепле до нового Солнца. А нынешнее Солнышко красным олененком отгуляло по синему лугу, пришло ему время откочевывать в Теплую Сторону Земли. Отчего же это доброе Солнышко с такими добрыми руками — лучами — так мало гостит в нашей Ночной Стороне? Ведь так хорошо с Солнцем! Так оно нежно ласкает тайгу, разгоняет мороз и снега, звенит ручьями, шумит бурными реками! С появлением Солнца заливаются песнями птицы, появляются на свет птенцы, яркой зеленью снова вспыхивает тайга... Все оживает под Солнцем. Все поет и ликует!.. Под Солнцем и люди сыты: тайга полна всякого зверья и птиц; в реках и озерах плещутся большие и малые рыбины; деревья, кустарники, травы родят столько вкусных ягод, шишек, грибов и кореньев, что, пожалуй, и вовсе не надо заботиться о еде — она всегда под рукой.

А теперь вот — все. Кончилось лето. Уходит это доброе Солнце, и грустно так на душе, словно оно навсегда покидает нас...

Кончилось лето. И запели песню прощания священные лебеди — белые гаги, заплакали песню прощания священные журавли — черные карави... Прощайте!..

Амарча выскочил из чума босиком, вслед за бабушкой Эки. Порыв ветра стеганул мальчишку, заставил сжаться и отвернуть лицо. Потом, задрав вверх голову, Амарча посмотрел на небо. Ничего там не видно — одна темная мохнатая шкура. Ни одной дырочки, в которую могли бы выглянуть веселые глазки звездочек, нет.

«А где же Буга Сангарин?¹ Как же она будет выпускать утро?..» — испугался Амарча.

¹ Буга Сангарин — Полярная звезда. Дословно: отверстие Вселенной.

— Нацеловалось Солнышко с нашей землей, — говорил вчера дедушка Бали. Амарча помогал ему ширкать шилой толстые тальниковые ветви, и старичок вдруг спросил: — Красивой стала та сторона речки?..

— Березняк стал красным.

— Это у березок зарумянились щеки, — продолжал Бали. — Как девчонки, засмутились. Не узнать тайгу. Огненной лисицей прыгало Солнышко с перевала на перевал, с хребта на хребет, вот и наоставляло своих рыжих следов. Прощалось. Теперь ветрам будет работа. Листочки с деревьев срывать, собирать их в кучи... Хэ! Всеу свое время. Без времени лист не упадет, а время пришло — утесы рушатся, скалы осыпаются... Откочевывает Солнышко на другой бок Земли, погреть других людей, всем хочется тепла и счастья...

— Гаги, вернитесь!.. — кричит что есть мочи Амарча. Одной рукой он поддерживает спадающие штаны, а другой кидает вверх, в темное клубящееся небо, щепотку соли. Так учила бабушка. Она тут же, рядом, что-то беззвучно шепчет, обратив лицо к уплывающим вместе с порывами ветра птичьим крикам.

Амарча топчется — мерзнут ноги.

— Хутэ¹, — говорит Эки внуку, — брось еще немножко соли вслед птицам. Пусть их кочевье будет счастливым. На будущий год они найдут свой след и вернутся к нам, принесут тепло и лето.

— Гаги, вер-ни-тесь!.. Ве-ер-ни-тесь!.. — снова надрывается Амарча. Ему сейчас очень горько. Так не хочется, чтобы уходило лето и улетали птицы. Заплакать бы, да стыдно, не маленький уж.

— Ээ! Чего слишком-то кричишь? — перебивает его бабушка. — Так можно весь белый свет перепугать!..

В темноте не видно ее лица, но Амарча знает, что она опять принялась шептать. Снова просит Хэвэки — Доброго Духа — помочь птицам счастливо добраться до теплых земель. Вот взмахнула рукой — бросила соли! Амарча вытягивает вперед ладони. Неужто и вправду ни одна крупинка не упадет на землю и вся соль долетит до птиц, священных лебедей и журавлей, прильнет к их крыльям, к хвосту и прибавит им сил? И неужели эти простые крупинки соли не дадут птицам забыть нашу землю — вот эти болота, речки, озера, на волнах ко-

¹ Хутэ — дитя мое.

торых они качались, на берегах которых гуляли птенцами. А журавли, эти сильные небесные олени, посадят на свои спины слабокрылых пташек и помогут им добраться до теплых земель, до незакатного, как у нас летом, солнца? Неужели правда?

Вот диво!

Но узнать магическую силу соли не удалось: опять поползли вниз штаны, и пришлось спешно подтягивать их. Хорошо, что никого не было рядом, хорошо, что темно.

Бабушка Эки закончила прощальный ритуал, и Амарча, обрадовавшись, подражая олененку, подпрыгнул и припустил к чуме. И тут случилась маленькая беда. В темноте он наступил на свернувшегося калачиком Качиканá. Хоть за лето у парнишки и загрубели подошвы ног, стали черными от земли, он ясно ощутил живое тепло собаки. Пес скорее от неожиданности, нежели от боли, завизжал, вскочил на ноги. Амарча тоже испугался, еще раз споткнулся, руками ухватился за густую собачью шерсть, упал и придавил Качикана. Тот завизжал совсем громко, обиженно.

— Ча! Харги!¹ Вечно под ногами валяется!.. — кричал Амарча.

— Глаза-то где? Чего, как дикий олень, срываешься? — заругалась бабушка. — Вот укусит тебя, будешь знать...

Обидно за промашку, молчит Амарча. Качикан добрая, умная лайка, своего не тронет.

В чуме тепло, пахнет свежей хвоей. Яркими языками огонь костра лижет бока черного, закопченного чайника, играет бликами на коре и жердинах чума. Весело с огнем, он радостно потрескивает, гудит — видно, тоже проголодался и теперь быстро слизывает дрова.

Тоненько, словно комар, запел чайник, потом тяжело вздохнул — выпустил струйку пара, и вот уже заплясала, резвым лягушонком запрыгала на нем крышка.

Есть загадка: черный пузатый мужичок, воды напьется, на огонь сядет и, приподнимая шапку, запоет и запляшет. Кто это? Не каждый отгадает. Вот научится говорить разные слова маленькая Тымани, сестренка дружка Палеты, надо будет ей загадать.

¹ Харги — злой дух, обитающий в Нижнем мире, то есть под землей.

Сейчас будет чай. Бабушка снимает чайник с оловна — крючка, бросает в кипяток брусничные листья, закрывает крышку — пусть преют, чай душистее станет. Коношится бабушка в турсуке¹. Достает оттуда холщовый мешочек с эвенкийским хлебом, испеченным в золе, ставит маленький столик на гагарьих ножках. Все это она делает молча, тяжело вздыхая, поправляя коричневой рукой выбившиеся из-под платка пепельные пряди волос. Устала бабушка. Хлопотный нынче выдался день. Да и погода тоскливая. Может, и ей жалко расставаться с Солнцем, с сытым летом и улетающими в теплые земли птицами?

Хлопотный выдался день. Сегодня они с бабушкой из летнего берестяного чума перешли в зимний, сделанный из корья елей. Сначала они укладывали ненужные летние вещи в турсуки, перетаскивали их под старенький навес, а потом наводили чистоту в зимнем чуме и ходили в лес за ветками пихты. Ветки постелили под оленьи шкуры, чтобы мягче и теплее было.

Незаметно наступили сумерки. Дохнуло холодным ветром. В Ночной Стороне Земли стали собираться тучи — оттуда всегда приходят снега и дожди, — и бабушка заторопилась:

— Пока нас не застала непогода, надо успеть...

Кинула она еще на низ чума лопату земли, и они заспешили на летнее чумовище. Надо соблюсти ритуал родовому огню. В летнем конусообразном остове из жердей мог потухнуть догорающий уже костер. Если б переезжали куда-нибудь далеко, Эки не спешила бы, она просто склонилась бы над тлеющим очагом, взяла бы шепотку золы, сунула бы в рукав и попросила бы Бабушку-огонь переехать вместе с ними на новое место. Над новым очагом она махнула бы рукавом или сделала бы вид, что стряхивает золу прежнего родового очага, и развела бы костер. А сейчас нельзя так, надо обязательно перенести горящие угли: переезжают они вот сюда, совсем рядом.

Порывшись в дымящем костре, бабушка Эки наложила в котелок углей, бережно взяла Делбон — идола, хранителя домашнего очага. Амарча снял с жердины портрет Калинина, висевший на малу, на самом почетном месте. Это двоюродные сестренки, Буркаик и

¹ Турсук — берестяной или плетеный из травы кузов.

Солбирик, принесли его из интерната и повесили в чуме. В зимнем жилище он тоже будет висеть на малу, рядом с хранителем очага. Так решил Амарча. Эки не вмешивается в дела внука, пусть устраивает свой угол так, как ему хочется.

В зимнем чуме Эки высыпала угли в старое кострище:

— Бабушка-огонь, устраивайся на новом месте. Благополучия нам дай!..

Раздули огонь, набросав на угли сухих веток. Эки достала припасенный для этого случая кусочек сала:

— Бабушка-огонь! Угощайся!.. Сыта будь, добычу нам дай, чтобы и мы сыты были!.. О всеильный огонь!..

Пошептав какую-то, видимо русскую, молитву, взялась за обычные хлопоты.

— Не стало мужских рук,— вздохнула она,— как перезимуем, хутэ? Корье какой уж год не меняли. Мох весь высох, ничего не держит. Надо земли побольше на низ, потом снега... А Ургунчэ — разве это мужчина? Ему бы только лежать кверху брюхом да себя поглаживать. Ведь просила его: надери корья, пока ели сочные. Коли присохнет рубашка, потом как отдерешь?.. Нет, все лето прособирался... И не подумал о нас. Ну мужчина!.. Грех мужиком-то звать...

В летнем берестяном чуме бабушка Эки с Амарчой жили с младшей дочерью бабушки Сартой и ее мужем Ургунчей да еще с их дочерьми Буркаи и Солбирик. Зятя-то и вспоминала сейчас бабушка. Недутевый мужичишка этот наш Ургунчэ. Про него говорили, будто лень вперед его родилась. Ни на охоте ему особой удачи не было, ни на рыбалке да и в чуме-то от него толку мало. Если целыми днями на шкуре валяться, откуда ж удача-то будет?.. Правда, этим летом он все же прилавил Большое мясо, убил сохатого. Праздник сделал людям. А так... Пользы от него никакой... И как только бабушка отдала за него свою дочь?.. Может, он в молодости таким не был? Вряд ли... Живет Ургунчэ кое-как, перебиваясь случайными кусками, а о будущем дне и не думает. Хорошо, что сейчас интернаты сделали, кормят, одевают ребятишек. А то совсем худо было бы... Впрочем, кто сейчас хорошо живет? Хотя, пожалуй, другая дочь бабушки Эки Сынкойк сытно живет. Шаманка она, уж ее-то люди ниматом¹ не обнесут.

¹ Нимат — обычай раздела добычи между сородичами.

Буркаик и Солбирик отправили в интернат. А сами Сарта с Ургунчей до вчерашнего дня все тянули с поездкой в тайгу на охоту. Но, слава богу, тронулись наконец и вернутся теперь лишь к месяцу Ворона¹.

Всю зиму, самое темное и морозное время, до поворота Солнца в обратный путь к Ночной Стороне Земли, они будут жить одни. Бабушка Эки, Амарча и Качикан. А зима еще не началась, сегодня ветер делает только первый заход, потом он себя покажет по-настоящему. Скоро первые утренники обожгут последние листочки на деревьях, ветер сорвет их и погонит, погонит по замерзшей земле. И замрут, словно стесняясь своего убогого вида, раздетые донага великаны, уныло станет в тайге.

Бабушка разливает чай в кружки, кладет на столик хлеб и один маленький кусочек белого сахара. Это Амарче, а сама она так, без сладкого обойдется. Давно уверила внука, что сахар ей вреден, — вон, во рту и зубов-то почти не осталось. А Амарча любит сладкое.

«Какой интересный камень, — радуется он, — Твердый, а положишь в рот, начинает таять, слюна становится сладкой и вязкой, душа ликует! Где русские берут эти камни?.. Вот найти бы такую гору, поставить бы чум рядом с ней и никуда больше не кочевать. Почему у нас нет таких сладких камней?»

Много вопросов родится у Амарчи.

— Пей.. Только не обожгись. Чай горячий...

Принялись за еду.

— Ка... ра... ав!.. — опять донеслось с вышины.

— Хэ, родимые, полетели... — подняла голову бабушка, с шумом прихлебывая чай. Свет костра осветил ее сухонькое, будто сильно изношенное лицо, видны стали все трещинки, все морщинки на нем. Для Амарчи лицо бабушки самое доброе, самое красивое на свете.

Амарча тоже взглянул вверх. В отверстии дымохода золотыми комариками мелькали искорки, порывы ветра подхватывали их и уносили ввысь. А где-то там, за тучами, плыли и плакали птицы.

— Эне², отчего плачут птицы?

Бабушка Эки привыкла к таким неожиданным вопросам внука, как привыкла к тому, что он стал называть ее

¹ Месяц Ворона — апрель.

² Эне — мама.

мамой. И радовалась, что вопросы становятся все смысленнее: «На отца будет похож», — глядя на внука, думала бабушка.

Амарча заметно подрос за лето. Тонкая, как у птички, шея, крупная голова; лицо и тело загорели до черноты. Примета была у бабушки: кого смочили первые весенние дожди, обожгли ветра, тот вырастет крепким, для таежной жизни пригодным. Оперится, встанет на ноги — дальше уж все от самого себя зависит.

— Жалко им расставаться с родимой землей, вот и плачут. У них тоже есть сердца, они — как люди. Надолго улетают, долетят ли до теплых земель...

Она снова делает шумный глоток, а потом, повернувшись к Амарче, говорит с укором:

— Опять у Воло слезы выжимали!.. Зачем дразните, он же маленький.

— Какой же он маленький? — Амарча цепляется за последнее слово, стараясь увести разговор в сторону. — Он выше меня.

— Ты на целое Солнце старше его, — сердится бабушка. — Тебе же только трех месяцев не хватило до семи лет. Сейчас был бы ты в интернате... А Костака, дружок твой, совсем глупый. Зачем младшего обижать? Мало, что ли, отец его ремнем порет?.. Забыл, как сидеть не мог...

Что верно, то верно. Крутоват их отец, дядюшка Мирон. Застал он однажды Костаку за куревом, отстегал беднягу ремнем, да так, что зад у него вздуло, — ни сесть, ни лечь. Учительница Тамара Дмитриевна при всем народе его обругала. Дядюшке Мирону потом стыдно было: нервы, говорит, после фронта никудышными стали. А что такого Костака сделал, чтоб так лупить? Подумаешь — курево! Наши-то эвенкийские ребята почти все курят...

Да, странные люди эти русские! Не поймешь их. Вон вонзья Митьку Тирикова и его отца Егора, сторожа пороховушки. Тоже ведь русские; а Митька почище эвенков курит да и хулиганит вдобавок, а отец помалкивает.

Веселым человеком был Егор Тириков, не унывал никогда. Какими-то неведомыми судьбами оказался он у нас на фактории, а какими — он не рассказывал. Лишь когда разговор заходил о женах, кричал громко:

— А моя курва вильнула было хвостом, мы с Митькой и бросили ее в городе, на Лене-реке, а сами сюда по-

дались... Глядишь, какую-нибудь тунгуску присмотрим, верно, сынок?

Егора Тирикова эвенки жалели. Неустроенный, мол, человек. Жизнь его обделила.

Пороховушка его стояла рядом с Госторгом, в лесу, чуть в стороне от фактории. От избушки, что одновременно была и сторожкой, и домом, к Гаинне — Лебединому озеру, к видневшимся вдаль хребтам, вела оленья тропинка, служившая Егору охотничьим путиком. На Лебедином озере Егор рыбачил, а по его берегам и распадкам ставил ловушки на горностаев.

Одет Егор был беднее бедного. В самые трескучие морозы ходил по лесу в старенькой, местами прожженной у таежных костров фуфайке, матерчатой шапчонке, сильно потрепанной и потертой; на ногах чарки. И ничего. Не унывал, как уже говорилось. На жизнь не жаловался. Покрякивал да посмеивался в закуржавевшую бородку:

— Морозец-то, паря, того... кусается!..

Вот за это неумение приспособиться к суровой таежной жизни и жалели его эвенки.

— Бедный, бедный Егор, — вздыхала какая-нибудь старушка. — Неужто не знает — в меховой-то одежке теплей. Темный он человек, не по-нашему воспитан... А так-то ничего, мужик хороший, простой, совсем как эвенк.

Митька — в отца весь. Такой же веселый, только, пожалуй, еще бесшабашнее. На языке у него вечно какая-нибудь прибаутка: «Эй, тунгус, глаза узкие, нос плюский, ты совсем-совсем как русский! Ха-ха-ха!»

Костака и Воло Фарковы — друзья Амарчи. Амарча не помнит, когда они появились в стойбище. Ему казалось, мальчишки всегда здесь жили, но люди говорят, что хозяином Госторга, этого домика, где принимают пушнину и за нее выдают муку, сахар, разные товары, был когда-то другой русский. Он уехал, а вместо него прислали Мирона Фаркова. Жена его, тетя Наташа, — добрая, жалостливая женщина, сам же Мирон мрачный какой-то и нравом крутой. Глаза у него холодные, выпученные. Усы жесткие, топорщатся. Эвенки на него как взглянули, сразу прозвище прилепили: Бадялаки — Лягушка значит. И голос у него хриплый, будто сердитый. Но это, говорят, от ранения осталось, пуля в горло попала и что-то нарушила там. Воло точь-в-точь на отца похож. Глаза у него тоже выпученные. Его люди Лягушонком кличут. А вообще-то ребят зовут Володя и Костя,

это уж наши на эвенкийский лад их переделали — Воло, Костака...

Детей Фарковых тоже жалели. Ни погулять им вволю, ни в лес сходить, ни у костра ночью посидеть. Все время надо спрашивать разрешения у родителей. Это не эвенкийские ребята — куда захотел, туда и пошел, где ночь застала, там и заночевал. И никто в этом ничего предосудительного не видел, а русские удивлялись:

— Почему вы разрешаете детям делать все, что им вздумается? — спрашивала Тамара Дмитриевна, учительница, щуря глаза, словно кому подмигивая, такая у нее привычка (или со зрением что-то неладно) — щурить глаза. — Детям нужен режим, их воспитывать надо. А они у вас целыми днями пропадают на речке, в лесу... Как же так? Мало ли что может с ребенком случиться...

— Что тут плохого? — не понимали эвенки.

Бабушка Эки отвечала определеннее:

— Ээ, — махала она рукой, если целый день Амарча не появлялся в чуме, — пусть бегаёт. Пошатается по тайге — научится находить прямую дорогу к дому, обожжется у костра — будет знать, что такое огонь.

Егор Тириков стал на сторону эвенков, ему понравились слова бабушки Эки.

— Верно она говорит. На своей шкуре испытай, тогда ты будешь жильцом на свете! Во, паря, как!.. Своя школа!.. Ты не смотри, что они лешаки, медведь у них прародитель, нет, паря, они верно кумекают!..

Вот про этих-то русских частенько за вечерним чаепитием и вспоминали Амарча с бабушкой.

— Я не дразнил Воло, — глядя на огонь, говорит Амарча.

— А что тогда бегал? Другим подражал?

Амарча молчит.

Около речки, на самом угоре, стоит баня. Без крыши. Строил ее Мирон Фарков. На толстые плахи, служившие потолком, он накидал земли, и со временем банька покрылась дерном, густой травой. Одно маленькое оконце смотрит на речку, а напротив дверь, возле которой, с улицы, лежат наколотые дрова. В бане каждую субботу топились каменка, грелась вода, а потом хлестались вениками русские мужики. Их всего трое было. Мирон Фарков, Егор Тириков и радист Гошка Инешин. А нынче летом к ним присоединились и наши — быв-

шие фронтовики Черончин и Шилькичин. Они на войне париться научились.

Здесь же, у баньки, любимое место молодежи и ребяташек, и потому весь бугор тут вытопан, ни травинки на нем. Иногда в летние вечера слышались здесь песни — подросток за войну молодняк пытался водить хороводы, но чаще всего взрослые парни и девки играли вместе с ребяташками в бабки, палочки-застукалочки, эвенкийский травяной хоккей...

Сейчас народу в стойбище и на фактории поубавилось, большинство семей откочевали в тайгу на охоту, а школьники уехали в интернат.

Ныңче днем Амарча, Воло и Палета, внук дедушки Бали, сидели на земле, на солнечной стороне бани, грелись, вспоминали летние игры, потом попробовали соревноваться — кто кого переплюнет, но и это вскоре им надоело, сидели просто так, ничего не делая, лениво перебрасываясь словами.

Вернулись из школы Костака и Митька и подбили малышей играть в бабки. Бросились ребяташки по своим чумам, где в укромных местах хранили бабки, даже Палета принес, — обычно у него не было — он все время проигрывал. Палкой обновили на земле черту и поставили кон. Стали орлиться, и, конечно же, начать игру выпало Митьке с Костакой.

Первым стал целиться Митька. Вытянул вперед руку с биткой — крупной бабкой, залитой внутри свинцом, прищурил глаз. Все замерли, затаили дыхание, и тут Костака вдруг весело забубнил:

— Не попал, не попал, свою мать законал!..

Митька перестал целиться:

— Ты чо опять заговариваешь под руку?.. А если я тебе...

— А чо я? — невинно заулыбался Костака.

Митька снова вытянул вперед руку, сощурился. Потом, не торопясь и не отрывая взгляда от бабок, занес руку назад и метнул. Битка пролетела над бабками.

— Промазал! — облегченно вздохнули ребята.

— В следующий раз я играть не буду. Лезет с заговорами! — Митька зло глянул на Костаку.

Тот, не обращая внимания на дружка, прошел к условному месту, откуда били и, чтобы Митька не успел ничего сказать, сразу же, не целясь, размахнулся, что есть силы метнул свою тяжелую битку. Битка глухо

стукнулась о стенку бани и, отскочив, угодила по ноге Воло. Тот взвыл, поджал ногу, обхватив ее руками, запрыгал на другой, потом, не дав никому опомниться, взял битку и бросил в речку.

— Вот тебе!

С этого и началось.

Растерявшиеся Амарча и Палета взглянули на Костаку, а Митька, довольный таким поворотом событий, подзуживая, сказал:

— Вот те на... Все за мир, а он за войну!

Это задело Костаку, и он двинулся на брата:

— Ты что, Лягушонок, по морде захотел?! Я нарочно, что ли? — И дал пинка Воло. Тот заорал, глаза зашныряли по сторонам в поисках палки. Это у него и раньше бывало, прием старый, испытанный — возьмет палку и давай гоняться за ребятами. А те и рады: начинают хихикать, корчить рожи, показывать языки, и получается своеобразная игра — дразнить воющего Воло. Но, надо сказать, и Воло маленько хитрил. Бежит за ребяташками, орет, а сам поглядывает по сторонам: не видно ли кого из взрослых, не заступятся ли?.. Эта игра чаще всего кончалась тем, что открывалось окошко Госторга, оттуда высовывалась всклокоченная голова дядюшки Мирона и раздавался пронзительный свист. Так свистеть, не засовывая пальцев в рот, умел только он. На бегу замирал Костака, остальные ребяташки прятались кто куда: за баню, в густую высокую траву. Чужих дядюшка Мирон никогда не трогал, попадало всегда Костаке, хотя чаще виноват кругом бывал Воло.

Сейчас, чтобы еще раззадорить Воло, Митька хихикнул, и тот бросился к дверям бани, где лежали дрова. Начиналось бесплатное представление, как называл эту игру Митька. Повеселел даже Палета.

Воло с ревом кинулся за старшим братом. Митька засмеялся, стал корчить рожи...

Амарча молчал. Виноватым во всем он считал Костаку.

И тут из чума с берестяным тазиком в руках — хлебом для Качикана — вышла бабушка Эки. Позвала Воло, погладила по голове, успокоила мальчонку.

Вот об этом и вспомнила бабушка вечером, укоряя Амарчу. Тот сильнее стал дуть на чай.

— Га... а... га!.. — опять донесся лебединый клик.

— К снегу,— сказала бабушка,— лебеди и журавли самые поздние птицы. Полетели— жди снега... Какими будут нынче осень с зимою? По приметам, люто будет... Как там поохотятся наши? Не растерял бы Ургунчэ оленей, а то вшей не хватит рассчитаться.— Она снова тяжело вздохнула.

— Энё, а почему не улетают в теплые земли рябчики и глухари? — поинтересовался Амарча.

— А ты почему не сходишь к дедушке Бали? Разве он все сказки вам рассказал?

— Нет, про рябчиков и глухарей он не рассказывал.

— А ты сходи и спроси. Скажи, дедушка, отчего у рябчика мясо белое? Отчего у глухаря брови красные? Почему они не улетают со всеми птицами? Он знает.

Действительно, отчего?

Амарча знает, почему у бурундука спина полосатая и почему кедровка стала черной. Это давным-давно было, когда Амака — Дедушка Медведь — дружил с ними, с бурундучком и кедровкой, и попросил их разведать урожай шишек в кедровом лесу. Кедровка полетела туда, увидела множество шишек, загорелись от жадности у нее глаза, и она решила: «Не скажу Медведю, все будет мое!» Вернулась назад, запела: «Ни одной шишечки не видела, с голоду помирать придется! Конец света наступает!» А у самой довольный, сытый вид. С подозрением посмотрел на нее Дедушка Медведь. «А теперь ты, Улгуки, сбегай в кедровый бор», — обратился он к бурундучку. Умчался тот и вскоре вернулся с раздутыми щеками, лапками вытряс орешки и радостно запищал: «Дедушка, шишек там видимо-невидимо, всему живому хватит!» И Дедушка Медведь погладил лапой бурундучка, вот и остались полоски на его спине, а кедровку за вранье бросил в костер, и она чуть не обуглилась, стала черной...

Амарча знает много сказок про волков, про жадных росомах, про хитрых лисичек, про трусливых зайчишек, много сказок про разных других зверьков, а вот про птиц дедушка Бали почему-то еще не рассказывал.

Надо сходить к дедушке, а то и правда скучно ему сейчас стало. И в гости никто не зайдет, людей-то в стойбище почти нету. Все, кто может держать ружье, ушли на охоту, разбрелись по своим родовым землям. На что уж Ургунчэ полежать любит, но и тот под-

нялся, ушел в тайгу, говорит, осенью и у него, как у оленей, кровь начинает играть.

Сохатые, олени, медведи нагуляли за лето жиру толщиною в ладонь, мясо у глухарей и рябчиков стало нежным и вкусным, какой же охотник сейчас усидит в стойбище и на фактории? Только слепому да убогому нечего делать в тайге — лишним ртом будет. Были бы глаза, разве дедушка Бали считал бы себя обузой? Нет, конечно. А так вот остался на стойбище с бабами да малыми ребятишками. «Госторг да Кочсовет не дадут вам умереть с голоду, — рассуждали, уходя в тайгу, мужики. — Слава богу, война кончилась, теперь полегче будет...»

Это верно, без войны куда как лучше стало. Да все равно — много ли заработаешь на заготовке дров для школы и конторы да траве для коров?

Пока тепло, старики да старухи по вечерам мнут шкуры, выделывают камус¹, а дедушка Бали к тому же нянчится с внучкой Тымани. Палета-то сам не больно велик, какой из него помощник...

Амарча устался на пламя костра, и мысли его переключились на огонь. Вечно можно смотреть в глаза огню, и не надоест никогда.словно в древней пляске, извиваются язычки пламени, о чем-то шепчутся, разговаривают на своем языке. Вспыхивают, угасают, а чуть пошевелишь угольки — снова слышится песня. Для Амарчи это пока тайна, а старики, как бабушка Эки и дедушка Бали, понимают язык огня, кормят его душу лучшими кусочками от добычи и стараются не обижать, не оскорблять его жудым словом и делом.

Огонь всесилен!..

...Рядом с чумом раздались шаги. Бабушка Эки встревоженно повернулась к двери: кто идет? Качикан на улице молчал, и это успокоило их с Амарчой. Понеслось кряхтенье, потом, откинув полог, в чум медвежонком вкатился маленький безухий мужичок Чимиркан.

— Откуда ты взялся? — удивилась бабушка.

Чимиркан стряхнул со спины турсук. Что-то тяжелое в нем.

— Шашлычьте!..

Мясо!..

¹ Камус — шкурка с ног оленя.

Еще в молодости Чимиркан встретился лицом к лицу с Амичаном — Дедушкой Медведем, и тот оставил ему на всю жизнь отметины: изжевал левую руку и содрал ухо, так что осталась только дырка. Рука высохла и перестала слушаться, а слух и вовсе исчез. С тех пор Чимиркана стали называть глухим. Но за малый рост это прозвище произносилось уменьшительно, ласкательно — Куйкикан, глуховатенький.

Удачливым он был охотником. Куда Ургунчэ до него. По старинным меркам он прямо рожден был для охоты. Такой, как Чимиркан, не отдавит спину оленю, на ноги быстр и скор, не хуже осторожного зверька-хищника умеет подкрасться к добыче — ни один сучок не треснет под его ногой. Трудно, конечно, ему с одной рукой да глухому, но все равно он ловко выслеживает соболей и белок, не уходят от него и крупные звери.

Охотится Чимиркан с двумя собаками — Сеқаном и Бэетконом. Найдет белку Сеқан, подаст голос, на его лай устремляется Бэеткон, ведет за веревочку Чимиркана. Без собак он бы тоже сидел в стойбище.

Чимиркан молча опустился на пахучие ветки по другую сторону огня, напротив бабушки и Амарчи, вынул изо рта трубку и стал сосредоточенно ее выколачивать. Можно было подумать, что ради этого он и пришел. Все молчали. Чимиркану надо кричать, а зачем поднимать лишний шум? Пусть сначала сам скажет, зачем пришел, у него нет уха, но язык-то целый.

Чимиркан не торопился открывать рот. Выколотив трубку, он, как и Амарча, уставился на огонь. Может, он просто так, посидеть пришел? Ну и пусть сидит, места в чуме хватит. Но он же ушел на охоту вместе со всеми, чего вернулся-то?

Словно очнувшись, Чимиркан шумно высморкался и громко сказал:

— С половины дороги вернулся, Эки...

— Почему? — У бабушки опять лицо стало встревоженным. Она тоже громко заговорила: — Забыл что или потерял?..

Чимиркан приложил ладонь к единственному уху, полуоткрыл рот, напрягся, стараясь по бабушкиным губам угадать, о чем она спрашивает.

— Забыл что или потерял? — опять закричала бабушка и, слегка отстранившись, тихонько запричитала: — Хэвэки, о Добрый Дух!.. О господи, вот горе-то...

— Вернулся я с Чулакана,— начал рассказывать Чимиркан,— помнишь, где старинное стойбище? Там речка изгиб делает в Полуночную Сторону, там Секан остановил лося с лосихой. Бэеткон привел меня к ним. Я спустил собаку с ремешка, чтобы они вдвоем задержали это Большое мясо, пока не подойду на выстрел. Глаза-то тоже слабеть начали, вот я и старался подойти поближе. Бэеткон дело хорошо знал, умный кобель. Все понимал, только говорить не умел... Жалко его. Так вот, заметил я сначала лосиху: смотрю, целая гора темнеет, а быка-то не вижу, он чуть в стороне был. Выпустил пулю. Лосиха споткнулась, пробормозила мордой по мху, но оправилась, поднялась на ноги. Пришлось добивать вторым выстрелом. Обрадовался — целая гора мяса, оленей на десять поклажи. Нож уже вынимать собирался, шкуру снимать хотел, и тут увидел: бог ты мой, смерть моя летит! С правой стороны несется на меня бык! Рога — как лопаты, голова — огромная коряга!.. Ладно, что увидел, глаза-то у меня покуда есть. Отскочил в сторону. Сохатый, как ураган, дронесся мимо меня, развернулся, ломая мелкие кусты и деревья, и снова — в бой! Тут я всех Духов наших и даже русского бога вспомнил.. Смотрю — Бэеткон ему под ноги подвернулся. Передним копытом лось, как пальмой¹, рубанул по хребту Бэеткона, тот и взвизгнуть не успел.. Пока топтал он собаку, пока гонялся за Секаном, я несколько раз пальнул. Не берут его пули, и все!.. Наконец, одна все же угодила меж ребер, попала в сердце.

— Как будто не знаешь?.. Кто же в период Лосиных Свадеб первой убивает матку? — кричала бабушка. — Ладно, что тебя не затоптал.

— Не видел быка-то. С боку глаз нет, — оправдывался Чимиркан. — Потом уж начал соображать, когда без поводыря остался. Чуть не плакал. Хо, Бэеткон, Бэеткон... Не найду теперь лакой собаки. Она умела даже тропинки выбирать, чтобы я не больно ноги малял. Вот беда-то...

Пригорюнилась и бабушка Эки. Поняла, к чему весь этот разговор. Чимиркан пришел за Качиканом.

— Хэ, — вздохнула она, — знала я твою собаку.

¹ Пальма — большой нож, насаженный на рукоятку, нечто наподобие копья.

Но Чимиркан не услышал этих слов, подняв лохматую голову, похожую на болотную кочку, попросил:

— Эки, помогай. Без собаки я — тень...

Бабушка Эки слыла знатоком эвенкийских лаек. Кто знает, как это она умела, но на удивление точно и безошибочно определяла еще у щенков их будущие охотничьи достоинства. Появлялись на свет слепые щенята, и люди псылали ребятишек за ней. Приходила бабушка Эки, заглядывала в рот малышам, осматривала небо, теребила их за загривки, щупала ноги, короче, оценивала по всем правилам и выносила приговор: кого оставить, а кого выкинуть на мороз. Бывало оставляла по одному-два щенка, а в другой раз, едва взглянув на них, отворачивалась:

— Выкиньте всех!.. Не смотрите, с кем ваша собака гуляет! — выговаривала она хозяину. — Так можно и без помощников оказаться.

Оставленные в живых щенята действительно вырастали ловкими, сильными: шли на любого зверя, хорошо понимали хозяина и, как Бэеткон, бесстрашно за него погибали. По голосу охотники определяли, на кого лает собака. Мужики даже шутили: лучше, мол, жену потерять, чем добрую собаку. Собак нельзя было продавать, их можно было только дарить.

Эвенки свято соблюдали древние обычаи. Вернувшись с охоты, несли бабушке Эки лучшие куски мяса, а иные, с появлением у кочевников денег, добавляли еще и их.

Сородичи мои тогда верили, что бабушке Эки помогают Добрые Духи и Верховные Божества. Иначе с чего бы ее старшая дочь Сыноккик стала шаманкой? Не могли люди взять, в толк, что никто бабушке не помогал, просто она крепко держала в голове родословную каждой собаки нашего стойбища до седьмого колена. Как у людей, так и у оленей и у собак нужно было знать родословную, чтобы выбирать лучшую кровь.

Оставшись с осиротевшим внуком, бабушка стала маленько хитрить: лишний кусок мяса был теперь большим подспорьем семье. Она перестала объяснять хозяину родословную его собаки, пусть сам следит. Пусть думает, что хочет, пусть считает, что ей помогают Духи, ей бы только дожидаться сытых времен, продержаться, пока внук не станет на ноги, не подрастет.

Бабушка Эки с трудом поднялась — эрэ¹! — перешла на другую сторону очага к Чимиркану. Опустилась рядом с ним и заговорила:

— Ургунчэ ведет аргиш на Чулакан. С ним моя Чикты, сучонка-то... Иди по их следам. Зятя моего знаешь, он на ногу тяжелый. Налегке за четыре-пять кочевок догонишь. Возьми у него Чикты, она тебя выручит в эту зиму.

— Ээ, ээ, — поддакивал Чимиркан.

— Дала бы Качикана, но он с тобой не пойдет. Убежит, ко мне он приучен. На будущий сезон выращу тебе поводыря от Чикты, не хуже Бзеткона будет.

— Ээ, — обрадованно кивал маленький мужичок, — дай бог тебе счастья, Эки. Сняла ты камень с души. Потерял Бзеткона, тут что-то давило... — Он смял суконный зипун на груди.

Бабушка снова горестно запричитала:

— Хэ, горе-то, горе...

Шли люди к бабушке Эки. Кто за советом, кто за помощью. Доброе у нее сердце, всегда она припасет для человека кусочек мяса, нужное слово... Потому, наверно, и получила она это почетное имя — Эки, Старшая Сестра Всех Живущих.

Темно и ветрено кругом. Как же находят дорогу птицы? Может быть, там, за тучами, глухаринной бровью алеет закат, и птицы видят уходящее солнце, пытаются угнаться за ним?

— Энё, на будущий год меня возьмут в интернат?

— Обязательно. На будущий год ты станешь настоящим мужчиной. Вернутся наши птицы, и тебя надо будет собирать в школу, научишься понимать язык бумаги. Нравится тебе, как Буркаик и Солбирик бойко разговаривают с бумагой?

— Да.

— Вот и ты будешь зрячим.

— А у меня и так есть глаза. Стрелять умею, пуля слушается.

— А язык бумаги не понимаешь...

— Научусь!...

— Ну и слава богу...

¹ Эрэ — восклицание усталости.

Вот так и закончился этот день у яркого костра. Бабушка Эки и Амарча поговорили еще о том о сем, посмотрели на огонь, каждый думая о своем, и стали укладываться спать. На большую оленью шкуру бабушка бросила старенький меховой спальный мешок, и Амарча юркнул в него. Сейчас он надышит, согреет мешок, а когда ляжет бабушка, он прижмет к ней и эту ночь будет спать крепко, без снов. Недаром говорится: на сытый желудок спится крепче и никакая сладость не заменит сон.

* * *

Отца своего Амарча не помнил. Он еще в зыбке качался, когда отец Кинкэ ушел на войну. Многие мужчины тогда покинули стойбище, но среди всех, по словам людей, он был самым умным. Таким его сделал далекий сказочный город Ленинград...

По рассказам бабушки, до него не просто далеко, а дальше, чем все наши мерки. Кочевками, пожалуй, не доедешь. Сначала будет наша тайга, реки, горы, потом опять хребты, реки и леса, уж потом, через много-много кочевков, начнутся русские города. Туда надо лететь на стальных сверкающих и гудящих птицах, ехать на огнедышащих лошадях, идти пешком, и уж потом, на берегу большого моря возникнет этот сказочный Ленинград, где раньше жили цари. Эти цари и прочие богатеи сидели на шеях простых рабочих людей и, как Ургунчэ, целыми днями ничего не делали. Конечно, это надоело людям, прогнали они богачей. А в тех дворцах и огромных домах стали жить и учиться дети бедняков, в том числе и бывших кочевников. Вот там-то и побывал отец Амарчи...

А мать, Мэмирик, черноволосую и черноглазую Мэми, Амарча помнит. Как начинает вспоминать бабушка, ему сразу же видится вот этот зимний чум и тот, вроде бы уже такой далекий, серый морозный день.

В ту зиму пришло известие о гибели отца. Пал он смертью храбрых на русской земле. Плакала мать, лежа на шкуре, укрытая облезлым заячьим одеялом. Духи болезней съедали ее. Она постоянно кашляла и таяла на глазах. Вокруг костра сидели тетя Сыноккэ, ее муж, дядя Дапамкэй, и еще какие-то незнакомые люди в добротных зипунах, расшитых разноцветным

сукном, бисером и молескином¹. Все курили длинные трубки. Амарча проснулся от плача матери.

— Сердце мое чуяло, что неладно у вас,— говорила тетя Сынкоик,— хорошо, что повернули мы на Суринду. Дапамкэй не хотел терять промысловое время, я его еле уговорила... Да и волки нас одолели, всех оленей поразогнали. Никаких Духов не стали бояться слуги Харги... — Она сплюнула рядом с костром.— Я поднимала свой бубен, да, видно, много грехов накопилось, ни один Добрый Дух не берется помочь нам в беде. Забывают звенки заветы предков, былую жизнь забывают, оттого и пошли всякие беды... Хэ! Тяжело на душе, словно кто остройгой в сердце колет. Вот и брат мой сгинул...

Мэми застонала, закашляла и зарыдала. Из-за спины ее поднялся Амарча, испуганно глянул на мать и тоже заплакал.

— Хутэй! — Сынкоик протянула к нему руки.— Не плачь, дитя мое. Иди ко мне. Посмотри, каких гостинцев мы тебе привезли. Помнишь меня?..

Дапамкэй подал ей турсук, и она принялась развязывать ремешки.

— На.— Сынкоик подала мальчику глухариную ножку.— Ешь... У нас и хуликтэ, и тэлик, и кучи² есть... А к чаю мы дадим тебе сахар. Ты любишь белый камень?

При виде еды у Амарчи высохли слезы. Перестала стонать и плакать мать.

В Суринде ни у кого уже не осталось ни муки, ни мяса. Варили кости лосей и оленей. Обухом топора разбивали их, опускали в котел с кипящей водой и варили, а потом пили этот жидкий навар. Как в старые времена, делали костяную муку, тем и спасались.

Амарча пытался разгрызть мерзлое мясо, второй рукой тянулся к хлебу.

— Хэ, родимый, видать, шибко наголодался. А худой-то, худой-то какой!.. Кожа да кости. Прямо светится весь. Вот беда-то, беда-а... — говорила, держа на руках Амарчу, Сынкоик.

— Проклятая собачья жизнь! — снова заплакала

¹ Молескин — плотная хлопчатобумажная ткань.

² Хуликтэ, тэлик, кучи — сушеное мясо, колбасы домашнего изготовления.

Мэмирик и закашлялась.— Что я скажу матери? Как объясню ей?

— Мы же на время его берем. Здесь-то помрет с голоду, или не видишь?.. Да и вам надо ехать, но мать разве уговоришь? Она совсем помешалась на артелях да интернатах. Что, будто чужая я вам? Амарча — кровь моего брата, почему не помочь? Исстари так ведется. Коли мать наша на старости лет с ума сходит, ты хоть подумай о сыне...

Мэмирик заплакала еще громче.

— Перестань, Мэми, а то накличешь новые беды,— ласково говорила ей Сынкоик.— Поднимись лучше, попьем чаю.

Мать, успокоившись, зашевелилась. Села, накинула на илечи зипун, пододвинулась ближе к огню и протянула к теплу ладони.

— Не дожить мне до лета.

Все стали говорить ей: мол, скрипучее дерево, сама знаешь, дольше всех стоит, не нужно только духом падать, беречь себя надо ради сына.

— Выкинь такие мысли из головы,— строго сказала Сынкоик.

Потом пили горячий чай, курили, разговаривали об охоте, наконец, стали собираться в лес к своим чумам. Сынкоик вытащила из турсука маленькую оленью парку¹ и длинные, на всю ногу, детские гурумы-унты.

Мэми чуть отвлеклась, залюбовалась изделиями Кондогирских родов. Какая красота! Белоснежная, с капюшоном парка, и такие же гурумы, украшенные, как и положено, мелким, с мышинный глаз, бисером. Заахали, зацокали языками люди, поглядывая на Амарчу, он заулыбался; посветлело и лицо матери. Дядя Дапамкэй, молчаливый, сдержанный, и тот не утерпел, откашлялся, потер обожженные на морозе щеки и тоже сказал:

— Посмотри, Мэми, в этом наряде Амарча будет красивым, как Хэвэко! Ты, сынок, слышал про Хэвэко? — обратился он к мальчику.— О, это был сильный, ловкий предводитель эвенков!.. Хочешь на него походить?..

— Ну, будем собираться,— поднялась Сынкоик,— путь неблизкий. Наша стоянка на болоте за Гайнней..

¹ Парка — одежда из тонких оленьих шкур шерстью наружу.

Жаль, что не повидала мать. Скажешь ей, погостить летом приедем.

Одетый во все меховое, Амарча стал похожим на неуклюжего медвежонка. Кусочек сахара приятно таял во рту, сладость успокаивала паренька, и он даже заулыбался.

Все зашевелились, захлопала, словно подбитая птица крылом, промерзшая сохатина шкура, закрывавшая вход в чум,— люди выходили на мороз, к оленям. Дядя Дапамкэй вынес Амарчу под мышкой, как мешок, и усадил в санки. Привязали его ремнями, чтобы, не дай бог, дорогой не потерялся, тронули аргиш¹. И тут с новой силой заголосила Мэмирик. Распахнулась шкура, и она, растрепанная, дрожащая то ли от холода, то ли от рыданий, выползла из чума на снег. С головы ручьем сбегали черные волосы, лицо исказилось в плаче, глаза распухли от слез.

Испуганно вскрикнул и заплакал Амарча.

— Побойся Харги! Что делаешь-то? — закричала на нее Сынкоик.— Не сходи с ума, Мэмирик! Иди в чум, простудишься! — Она раздраженно ткнула хореем² оленя, и весь аргиш заскрипел полозьями санок, устремился к ближнему лесу.

Так и запомнилась мать: лежит на снегу, с распущенными космами черных волос, с искривленным в плаче лицом... Красивая была Мэми, но и ее дорога в этом мире оказалась короткой. Болезни съели ее, и пришлось ей вслед за мужем уйти в Нижнюю землю.

Сынкоик и Дапамкэй не имели своих детей. Они брали сейчас Амарчу с тайной надеждой: вырастет мальчик у них в чуме, глядишь, охотником станет, все подмога на старости лет. А Сынкоик помышляла сделать из него еще и шамана...

Вернулась с охоты бабушка Эки, видит — в чуме холодно, пусто, даже кострище занесло снегом. Что случилось? Где же Мэмирик с внуком? Неужели им дров не хватило и они ушли в чужой чум переждать мороз? А вдруг новая беда приключилась? Вдруг с маленьким Амарчой что стряслось? Не может быть!

¹ А р г и ш — караван оленьих упряжек.

² Х о р е й — длинный шест, которым погоняют оленей.

А сердце отчего-то молчало. Видать, привыкло к бедам и теперь их не чувствует? Нет, сердце никогда не привыкнет к невзгодам...

— Почему чум пустой? — не помня себя, закричала она. — Люди! Почему мой чум пустой?!

Подошла Пэргичок, дочь слепого Бали, позвала бабушку:

— Эки, иди к нам чай пить... Твоя невестка, бедная Мэми, откочевала в другое стойбище. Там ей не нужен костер...

У Эки подкосились ноги, села она на санки. Поблело лицо — отхлынула кровь, замерло сердце. Не дай бог, если что-нибудь подобное скажет Пэргичок и про внука, — не выдержит тогда сердце.

— Амарчу забрала Сынокки. Она, наверно, знала, что Мэмирик уходит, вот и приехала... Крепись, Эки. Пойдем чай пить... Согреешься, отдохнешь с дороги...

В чуме Пэргичок и дедушка Бали рассказали ей:

— Проводили в дорогу Мэмирик как надо, она уже достигла того стойбища, а душа все еще витает в Верхнем мире, все никак не найдет, в кого бы вселиться. В кого вселяться-то, мужчин нет... Наша плакальщица много наказов дала Мэми, чтобы она обязательно нашла своего Кинкэ, может, там они будут счастливы...

Назавтра Эки запрягла оленей и, никому не сказав ни слова, умчалась снова в тайгу. Но люди-то догадались, куда поехала бабушка. И вправду так вышло — догнала она аргиш дочери и зятя. Больше десяти дней кочевала по их следам и все же настигла на одной из стоянок. Говорили, будто сильно они поругались. Вспоминая живых и ушедших родственников, Добрых и Злых Духов, насмерть рассорились, но не отдала бабушка Эки своего внука шаманке.

— Пока я жива, никому не отдам Амарчу, — говорила она. — Подрастет, в интернат пошлю, учиться. Кинкэ так хотел. Не вечно же эта проклятая война будет, придут и сытые дни. Говорят, гонят уже тех разбойников, напавших на нас... Кинкэ умным был... Я все сделаю, как он хотел. Пусть учится внук.

И еще, говорят, упрекала Эки свою дочь:

— Это ты съела всех наших родственников!.. И Мэми и Кинкэ ты съела! За их счет хочешь подольше пожить! Чего же твои Духи не защищают нас от голо-

да и болезней? Отчего они такие бессильные? Нет, не отдам я тебе Амарчу. Он узнает другую жизнь, ту, которую отец его увидел и полюбил!

СТАРШАЯ СЕСТРА ЖИВУЩИХ

Когда-то, в очень далекие времена, Хэйкогирский род эвенков был одним из самых многочисленных и могущественных. Кто знает, сколько лет прошло с тех пор, может, сто, может, тысяча, а может, и вообще столько, сколько шерстинок на шкуре оленя. Но предания говорят, что от дыма их костров не видно бывало солнца, а оленей водилось как комаров в травянистом месте. Ума не хватало, чтобы их сосчитать. Самое большое болото, за Гаинней, в весеннюю пору не могло вместить всех оленей. Это болото было своего рода меркой. Перед месяцем Оленят¹, прежде чем откочевать на склоны хребтов, открытые ветрам и солнцу, загоняли сюда оленей, кто-нибудь из мужчин залезал на высокое дерево и осматривал стадо. Если не видно было просветов, значит, олени все целы.

И мужчинами прежде славился род. По всей тайге, начиная от Ангары и кончая далекими хребтами Пурторана, не было им достойных соперников, а предводитель рода — богатырь Гарпанча, стрелой, пущенной из многослойного клееного лука, прошивал насквозь по пять рослых быков, поставленных вплотную один к другому. Вот какая сила была у этого богатыря! Он оправдывал имя — Гарпанча, то есть Солнечный Луч!..

Все Хэйкогиры отличались силой и удастью. Воины их достигали других племен и возвращались с богатой добычей и женами. По вечерам на закате солнца тайга оглашалась грохотом бубнов. Шаманы камлали, подражали зверям и птицам, чтобы подвигнуть сородичей на новые подвиги. О, было о ком складывать легенды и песни! В постоянном страхе держали они и ближнюю тайгу, и дальние тундры.

Не думали Хэйкогиры о том, что и в других, обиженных ими родах могут появиться такие же могучие богатыри, как Гарпанча, могут вырасти непобедимые шаманы, способные на лыжах ходить по воде, глотать каленые угли и превращать рослых быков-учугов² в ма-

¹ Месяц Оленят — соответствует маю.

² Учуг — олень, на котором ездят верхом.

леньких трусливых зайчат. Беспечными сделались Хэйкогиры. Вот тогда-то и стала меркнуть былая их слава, затихать стала боевая песня. Мало-помалу захирел род. Шаманы напустили на их стоянки Злых Духов, и пришел на их землю великий мор, унес лучших воинов, разорил оленьи стада. Былое могущество осталось только в легендах да сказках.

В этот обнищавший род из другого такого же бедного рода — Ушкагиров — попала и бабушка Эки. Тогда ее звали Огдо.

Колокана, своего мужа, она увидела только в дни сватовства. В те времена у девушек не спрашивали согласия. Отец решил, сговорился с другим хозяином, ну и дай бог тебе счастья!..

Так и с Огдо было. Взглянули молодые друг на друга — о Добрый Дух, — поблагодарили Всевышнего, что не за чурки их сватают. Понравились они друг другу, но вида не показали — пусть сваты продолжают свое дело, лишь бы не разладилась их женитьба. Но, к счастью, все обошлось. Уехала в Ушкагирский род сестра Колокана Умбирик, плача, заливаясь слезами уехала, — ей-то нравился другой парень, из другого рода. Больше с ней никогда не виделись. Далеко ее увезли, велика тайга.

По обычаю, подруги Огдо помогли ей собрать приданое, нарядили в праздничную одежду: на голову повязали несколько разноцветных платков, приспустив на лицо кисти, а затем, как куклу, усадили на верхового оленя: не плачь, Огдо!

— Счастья тебе, полный чум детей!.. Запомни, без мышей нора будет пустая, без детей твой чум будет пустой, а, значит, и счастья не будет. Живите счастливо!.. — напутствовали невесту. — Живите дружно, берегите друг друга...

Сколько лет прошло, а Эки-Огдо то напутствие помнит. Нет-нет да и задумается: была ли она счастлива в жизни?

А кто знает, какое оно, счастье? Когда сыты бывали, когда дети, как молодые деревца, тянулись к солнцу, все равно тревога не покидала сердце, и все будто не хватало чего-то. Может, в те времена счастье лишь краешком своего крыла нас задевало, а мы и не замечали? А может, тогда, когда на русской железной птице прилетел в свое стойбище сын Кинкэ?.. О, как слад-

ко билось в тот день ее сердце, как пела душа!.. Вот тогда, точно, была она счастлива!

Грех, конечно, на судьбу обижаться. Какая ей выпала, ту и прожила. С Колоканом они дружно жили, не дрались, как другие, даже не ругались, блюли заветы предков.

Колокан был смирным, добродушным мужиком, за глаза его называли Бычком. И надо признать, прозвище было точным. Колокан знал об этом, не обижался. Молча, неторопливо нес он свою житейскую ношу, основательно да умело. А что еще нужно женщине? Огдо смолоду не любила таких, как сосед Мада, у которых, казалось, вся сила уходила на пустые слова да зряшние хлопоты. Ни о семье позаботиться, ни на охоту толком сходить духу у них не хватало. Радовалась она, что муж ей хороший достался.

Огдо с детства умела держать в руках иглу и скребок для выделки кожи, а коли нужно, брала и топор, и ружье. Придя в чум мужа, она сразу стала полноправной хозяйкой. Родители Колокана нарадоваться не могли на такую невестку.

Заглянула Огдо как-то в старый лабаз, где хранились зимние одежды и вещи, распаковала один турсук и ахнула: сколько там было товара!

— Ээ, да вы не купцов ли ограбили? — пошутила она.

В турсуке в берестяных коробочках, в тряпочках лежали колечки, шнурочки, разные пуговицы, много разноцветного бисера: от крупного, как смородины, до мельчайшего, как мышиный глаз!

— Ограбишь купца!.. Суют их в первую очередь вместо пороху да свинца... Нет у нас мастериц, вот и лежат без дела, — отвечал Колокан.

В первое же лето Огдо, на зависть своей свекрови, обновила своими родовыми узорами суконные зипуны, летние унты. Всеми цветами радуги засияла одежда мужчин. В таких нарядах не стыдно было на людях показываться.

— Э, какая у тебя душа красивая! — хвалили ее старики.

И верно: в умелых руках — душа человека.

Может, та первая похвала и определила дальнейший ее характер? Ведь на хорошее слово всегда хочется ответить таким же словом и делом. Старалась невестка

варила еду, обрабатывала шкуры, шила унты, зипуны, меховые парки, драла бересту для посуды, для легнего нума — любое дело спорилось у нее в руках. Такая уж доля у женщин: нести хозяйство на своих плечах да детей рожать.

Появились дети: дочь Сынкоик, сыновья Куманда, Кутуй, Кинкэ, потом опять дочь — Сарта. О, сколько радости и хлопот прибавилось в чуме! У многих эвенков ребятишки в то время младенцами в Нижний мир уходили, не увидав ни тайги, ни рек, ни озер, ни солнца красного, ни луны серебряной, ни звезд ясных.

У Огдо и Колокана все дети остались в Среднем мире. Злые языки всяко про то болтали: «Ладно ли это? К добру ли? Все дети живы!.. Не бывало еще такого!»

Неужели люди желали ей горя и слез? Разве мало их на нашей земле?

Нет, конечно. Эвенки — добрый, сердечный народ. Но благодарить Огдо нужно свекровь — это она научила маленько хитрить.

— Огдо, дочка, учись жить у оленя. И мужа учи. Делайте осенью ребятишек. Вместе с оленятами они родятся, весной. За лето маленько окрепнут, а там уж никакая зима не страшна. Я сама так хитрила, вот и выжили все мои детки... Потом научу тебя и Злых Духов обманывать...

Может, и это помогло, кто знает... Как умела, так и оберегала Огдо своих детей. Но разве другие так не лукавили? Разве не клали в колыбели младенцев молотки и ножи, чтобы дети вырастали мастеровыми людьми? Разве не совали в зыбки вместо ребенка щенков или птичек, чтобы обмануть Злых Духов?..

Все так делали. Не виновата Огдо, что Злые Духи, завидев в зыбке щенка, уходили прочь и отпадала надобность давать детям страшные змеиные имена, неприятные не только для слуха людей, но и для Злых Духов.

Много, очень много оберегов существовало для женщин, для сохранения жизни людской, и она старалась их соблюдать. Как требовали заветы предков, она, нося в себе новую жизнь, не ела медвежью брюшину, чтобы самой не болеть животом, не ела мяса с его головы, почки, печень, ради того чтобы новый человек пришел в этот мир легко, без лишних мук. Отводила гла-

за и прикусывала язык, когда все ели мясо старого оленя, а ничего другого в чуме не было,—нельзя старого мяса касаться, роды будут тяжелые, намаешься, как молодая важенка.

На все случаи были обереги. «Не ешь рыбу после рождения ребенка,—говорили старики,—слюнявым вырастет. Не ешь мясо гагары, а если поешь—не нос у малыша будет, а гагарий клюв. Не ешь мясо зайца, не дай бог, вырастут выпуклые «заячьи» глаза, а еще хуже, как у лягушки». Какая же мать захочет, чтобы родимое ее дитя росло немым, глухим или полоумным калекой?

У того первого щенка, что положила в зыбку Сынкоик свекровь, было во рту нечетное число спиралей. По ее словам, они, как небо Вселенной, не имели конца, а уходили в бесконечность: «Даст бог, может, будет она великой шаманкой».

Окрепла Сынкоик, поднялась на ноги, на свет появился Кумонда, крикливый, узкоглазый, словно «с прицелом», с одним прищуренным глазом—и новый щенок уже лежал в зыбке. Снял Колокан с наружной стороны колыбельки наперсток и тряпочки, повесил лучок со стрелами,—не девчонка, а сын теперь будет качаться—стрелок из лука. У самого изголовья навесил разные побрякушки: медвежьи, беличьи, горностаевы зубы, птичьи косточки, все, что требовалось по поверьям. Сын все должен в жизни уметь: быть хитрым и умным. Только таким, умеющим и прыгать, и лазать, и кусаться, и стрелять, только таким можно выжить в нашей суровой тайге. Когда сын подрастет, мать перешьет ему эти подвески на пояс и на спинку кафтанчика.

Кто знает, может, эти маленькие хитрости, щенята, помогли детям одолеть первые суровые зимы, встать на ноги, оглядеться вокруг и увидеть эту прекрасную землю? Огдо верила в добрые и худые приметы, уму и опыту стариков—душе всегда нужна опора и поддержка, и она искренне молила Духов быть милосердными к ее детям. Видно, они услышали ее мольбу.

Лишь сейчас, глядя на свои высохшие руки, на искалеченные пальцы, бабушка Эки иной раз думает: не они ли пеленали счастье? Молитва молитвой, все просят счастья и добра для себя, для своих детей, а теплые заячьи шкурки, труху из лиственничного пенька,

тепло очага, чтобы ребятишки не простудились, — делай ее руки, вот эти маленькие скрюченные пальцы.

Вспомнишь былое — несчастье кажется долгим, как зимняя ночь, а счастье — как миг. Почему? Почему счастье мы будто не замечаем, не бережем его? Нет на это ответа. Видно, так устроена жизнь...

Подросли ребятишки Огдо и Колокана — шумно, весело стало в чуме. Сколько прибавилось рук! В три-четыре года они уже умели подать матери и отцу нож или скребок, сходить за водой на речку, а в десять лет — как взрослые, держали в руках ружье и иголку. Даже в самое голодное время в их чуме была еда — и сами сыты, и сородичам, чем могли, помогали.

Сыновья уже взрослыми стали. Колокан подумывал о невестах для них, помаленьку собирал выкуп. И тут дошел до таежных стойбищ слух — в русских деревнях жизнь, мол, переменилась, на сказку стала похожей. Старых купцов да торгашей прогнали, Госторги вместо них эвенкам сахар, муку, порох продавать будут. И новые цены куда лучше прежних стали. По душе эвенкам пришла новая жизнь. Сын Огдо Кинкэ прилетел на железной птице, собрал суглан¹ и позвал всех безобленных сородичей за собой.

Нужными людьми стали дети Колокана и Огдо. Они быстрее всех научились понимать русский язык и раньше других дошли умом до выгод новой жизни. Особенно Кинкэ отличался... «Вот почему их не призвали к себе нижние люди, — говорили в стойбище, — знали, что они здесь понадобятся, в нашем Срединном мире! Счастливые у тебя дети, Огдо!»

Но не ждала, не гадала Огдо, что скоро кончится ее материнское счастье.

Спокойно и хорошо на душе было. В чуме достаток, еды сколько хочешь, одежды, товаров разных... Что еще бедному эвенку надо? Сыт, одет и обут, не то что прежде. Живи да радуйся!..

Все дети Огдо обзавелись чумами, внуками да внучками одарили родителей. И Кинкэ наконец заимел сына. Долго ждали его. Целых три года Мэмирик затажалеть не могла, думали, порченная или ванггай², но, к счастью, ошиблись — и она родила крепенького, смуглого мальчугана.

¹ Суглан — общее собрание.

² Ванггай — яловая важенка, самка оленя.

Запоздал маленько сынок у Кинкэ, но зато таким желанным на свет пришел. Пусть будет имя ему Амарча — запоздавший малость. Ничего, неплохое имя, дедушка Бали его носит, а он человек добрый, хороший.

В Суринде к этому времени выросло уже несколько русских избушек. А первой была вот эта — Госторг. Неподалеку самая главная изба — Кочевой Совет, на нем красный флаг на ветру трепещет. А начальником в этой главной избе — кто бы вы думали? — Кинкэ стал. Огдо тогда домик этот самым красивым казался.

Стояла макушка лета, Иркин — месяц снятия кожицы с оленьих рогов. По русскому календарю — это будет июль. Палило нещадно солнце. Днем людей и оленей донимал овод, а по вечерам тучами давило комарье и мошкара. Ребятишки ходили с опухшими лицами, все искусанные; собаки, высунув языки и повизгивая, искали спасения в тени под кустами либо в траве; олени, побрякивая ботадами, шелкая костяшками ног, бегали между чумами, жались тесней к дымокурам.

Лишь ночью приходила прохлада.

Десятка два островерхих чумов белело в бору на берегу Суринды. Да несколько русских избушек. Большое стойбище. С утра до вечера слышался неумолчный лай собак, крики ребятишек, а по вечерам раздавались песни парней и девушек. Женатые мужчины и старики, откинув пологи чумов, отдыхали в тени. Веками так заведено было, лето — время отдыха около речек на старинных становищах. Ходили в гости из чума в чум, говорили о житье-бытье, об охоте, намечали новые свадьбы. Женщины копошились возле чумов, разводили дымокуры, присматривали за детьми. И с нетерпением поглядывали на Суринду — оттуда должны были появиться русские. Все ждали новых товаров.

Первыми всполошились собаки. Лежали вроде бы тихо. Но вдруг одна вскочила, гавкнула, за нею остальные. Потом раздался голоса ребят:

— Плывут! Плывут!.. Русские плывут!

Наконец-то! Стар и мал высыпали на берег. Шум, крики, смех — весело стало. Из-за поворота реки показалась сначала какая-то темная масса, потом — лодка. Русские мужики и две бабы, в рваных одеждах, в разбитых ичигах, из которых торчали пальцы, устало тя-

нули на длинной бечеве тяжелую, ватонувшую по самые борта лодку-илимку.

У стоявших на берегу эвенков вид был, наверно, не лучше, но все же они посочувствовали:

— Хэ, бедные, бедные... Зачем так работают?..

— Для нас стараются!..

— Наши мужики так не смогли бы!

— Да, сильные люди, видать, эти русские..

Русские подошли поближе, и эвенки увидели среди них старых знакомых,

— Хэ, друг Аркашкэ!

— Мукуиль!..

Они скинули с плеч лямки. Один из них поднял руку:

— Здравствуйте, товарищи. Прошу тишины. Кто из вас будет Кинкэ Хэйкогир?

— Здесь он, — вытолкнули вперед Кинкэ.

— Вы представляете на Суринде Советскую власть... Рад познакомиться. Я Логинов, бригадир.

Сквозь толпу к русским пробрался Мада.

— Дөрөва! Ты моя мордам знаш? — спросил он. Кто понял — засмеялись, другие с интересом смотрели, чего еще выкинет балагур, а Логинов, печально улыбувшись, сказал:

— Мы еще познакомимся с вами, товарищ... А сейчас нужно провести митинг. На нашей земле вот уже три недели идет война.

— Какая война?.. Что за война? Как? — всполошились люди.

— Три недели назад на нашу страну напала Германия... Все советские люди поднялись на защиту!

Эки плохо понимала по-русски, да и не помнит она других подробностей того митинга, она поняла главное — мужчин, в том числе и ее детей, будут брать на войну. Поняла и испугалась. Прежде войны бывали только в преданиях, да и то казались не страшными — там стреляли луками, стрелами. Умелые воины ловили стрелы и посылали обратно врагу. А нынешние войны, говорят, не похожи на те, что в легендах. Теперь пулями стреляют друг в друга.

Мужики, только что весело шумевшие на берегу, притихли, присмирели, что-то тревожное появилось в глазах даже у Мады. Он стоял с открытым ртом, не понимая ничего.

Кинкэ видел, как растерялись сородичи, он вышел вперед и сказал:

— На нашу землю пришла беда. Фашисты хуже всяких чангитов¹, они никого не щадят. Биться за Родину придется насмерть!.. Мы умеем метко стрелять. Мы нужны там, где сражаются все мужчины, весь советский народ! Предлагаю всем пойти на войну. Я первый...

— Что тебе надо там? — не выдержав, закричала мать. — Пусть стреляют другие. У тебя сын растет, кто будет его кормить? — И, обращаясь ко всем, продолжала: — Что вам там делать, люди? Это не наша война...

— Правду говорит Эки... Это не наша война! — раздался голоса.

— Нет, мама, это наша война! Мы должны защищать свою землю! Свои чумы! Своих детей! Своих матерей и жен! — возразил ей Кинкэ. — Советская власть дала нам сытую жизнь. Враг хочет отнять наше богатство, захватить нашу землю... Разве мы можем, как трусливые зайцы, отсиживаться в кустах?! Подумайте, люди!

Хорошо говорил Кинкэ, не зря он учился в далеком городе Ленинграде. Стыдно стало его землякам.

— Пйши мою тамгу². — К Логинову подошел друг Кинкэ Черончин.

И еще несколько молодых мужчин и парней записались на фронт.

На этом неожиданном суглане решено было: на фронт пойдут пока добровольцы, а остальным, если потребуется, пришлют бумажки и вызовут. Пожилых мужчин и стариков вообще трогать не будут.

Кое-кто облегченно вздохнул. И тут же, набрав продуктов, откочевал в тайгу — вдруг да передумает Кинкэ, всех за собой потащит. Вон братьев своих — Куманду и Кутуя, он, можно сказать, насильно добровольцами записал, а они, кроме тайги, ничего в жизни не видели. Даже язык-то русских и то толком не понимают. А как воевать будут?

Печальными были в стойбище последние дни перед отъездом на фронт. Все валилось из рук. Даже Кинкэ

¹ Чангит — разбойник.

² Тамга — клеймо, отпечаток.

и тот ходил сам не свой. Накануне отъезда он взял в руки пэнггивкэвун. Этим простеньким инструментом можно рассказать все, что хочешь. Кинкэ умел изобразить на нем скрип лыж и полозьев по твердому насту, цокот оленьих копыт, вой пурги и метели...

Перед свадьбой его пэнггивкэвун пел о любви. Как звонкий ручеек журчал, птичкой щебетал на всю тайгу. Невесту, будущую жену Мэмирик, Кинкэ высмотрел сам и женился по новому, советскому закону — без всяких тори¹, просто записались они в специальную книгу в Кочевом Совете, и все.

Кинкэ зажал во рту металлический язычок инструмента, тронул его пальцем — глухо вздохнул пэнггивкэвун. И вдруг — печально загоготали гуси, заплакали лебеди и журавли, тревожно прошелестел по листьям деревьев ветер, и вот, будто далеко-далеко за чумом завывала пурга, а потом снова опалил душу плач лебедей. Будто осень пришла. Темное ночное небо, тучи, сплошные тучи, и за ними вереницей плывут и плачут птицы, милые нашему сердцу небесные олени. И не из рта Кинкэ, а словно оттуда, с вышины, доносились тоскливые, щемящие душу звуки.

О Небо! Где она, эта Теплая Сторона Земли? Долетят ли туда наши птицы, вернутся ли они назад? Стань выше, Небо, пусть пролетят мимо небесных оленей дробь и пули охотника! Добрый Дух, помоги птицам возвратиться в родные края!.. Не туда ли теперь, в Теплую Сторону, собрались наши мужчины? Вернутся ли они назад?! О Небо, о Добрые Духи, будьте рядом, помогите им возвратиться домой!

Кинкэ играл песню «Прощание птиц с родиной».

На следующий день добровольцы покинули стойбище, некоторые из них навсегда.

— Мама, Мэми! Берегите сына, Амарчу! Подрастет, отдайте его учиться. Я верю, у него будет другая жизнь! Берегите его!.. — обнимая мать и жену, сказал Кинкэ.

...А потом Огдо-Эки одну за другой получила бу-мажки. Страшные, как выстрелы в сердце. Плакала, горько плакала мать над каждой из них, плакала вти-

¹ Тори — выкуп за невесту.

хомолку, не соблюдая родовой закон. В душе надеялась, что хоть один из ее детей уцелеет на этой страшной войне. Последнюю похоронку, на сына Кинкэ, они получили зимой, когда приехали на фабрику за продуктами.

Колокан ни слова не проронил, набил табаком трубку, подцепил палочкой уголек из костра, не торопясь раскурил. Потом, запрокинув голову, долго смотрел в дымовое отверстие. Но вот он поднялся, сказал устало:

— Снег будет, аргишить надо.

И, еще больше сторбившись, вышел из чума... Эки знала: сядет он где-нибудь в стороне и будет плакать. Почему эвенкам нельзя плакать?.. Почему Всевышний не запретил и смеяться?..

Не сдержалась Эки, зашло ее сердце. Упала она на шкуру, как неживая. Долго лежала молча. Потом вдруг запричитала:

— Хутэй! Хутэй! Зачем ты ушел в Нижний мир раньше меня? Солнышко мое, зачем ты закатилось так рано!..

Люди поняли, что шепчет она песню проводов уходящему в Нижний мир — землю Харги. Но ведь сейчас не положено: Кинкэ, по бумажке-то, три месяца назад умер, стало быть, он давно уже «там». Стали опять уговаривать, чтобы она плакала просто так, без слов.

— Поплачь, Эки, поплачь, теперь все плачут. Духи простят нас... Только молча, не говори ничего...

— Харги! Харгингаса! Злой Дух, проклятый Злой Дух! — вдруг закричала Эки. — Проклятый Злой Дух! Подавись людской кровью!.. И вы, обитатели Нижнего мира! Зачем вам нужны мои дети, возьмите меня! Почему меня не зовете? Будьте вы прокляты!..

Жутко стало в чуме. Женщины зашептали молитвы. Нельзя так. Нельзя вслух проклинать Злого Духа и нижних людей. Грех это великий. Горе, если даже это смерть сына, надо переносить молча. Лучше сделать вид, что ты не сильно огорчен, — так можно даже обмануть Злого Духа. Так испокон веков делали.

— Эки, помолчи! Услышат тебя!

— Пусть слышит! Не боюсь я его! Харги, слышишь! Черная твоя душа, захлебнись кровью моих детей!..

«Уж не кружит ли ее ум?!» — испуганно думали люди.

До самой ночи проклинала Эки всех Духов и даже русского бога. Наконец, совсем обессилев, забылась в тревожном полусне.

Позже, когда не стало тихого, добычливого Колокана, когда болезни и голод съели внука, сына Куманды, жену его и других родственников, снова поползли слухи:

— Услыхал, услышал Харги!.. Накликала, теперь он их всех съест...

Остались в живых, в этом Срединном мире, две дочери — младшая Сарта и старшая Сынкойк. С шаманкой-то, наверное, Злой Дух не справится, у нее у самой есть свой Злые и Добрые Духи, они ее берегут, а вот до Сарты, до внуков Эки добраться могут. Сарта со своим Ургунчей беспомощны, жить совсем не умеют. Надо же было так обмануться в выборе зятя...

Сынкойк раньше всех вышла замуж. А перед самой войной подались они с мужем на речку Куту — там собирались все, кто не принял новую власть. Оттуда ни один мужчина не ушел на войну. Радовались на Куте — вот, мол, как ловко они провели новых начальников.

На Куте водились еще олени, много оленей. А где олень — там сытая жизнь.

Шаманка Сынкойк взяла на Куте власть в свои руки. Там ее чтили и боялись. Эки вслух никогда не вспоминала о дочери, словно ее и не было. Люди дивились: «Как же так? Осталась, можно сказать, трухлявым пнем с жиденьким отросточком — Амарчой, и не едет к ней, к родной дочери. Даже отобрала мальчонку. Там-то ведь легче прожить, легче вырастить внука. Никто бы ее не осудил. Все знают — на Сарту с Ургунчей какая надежда? Им бы себя прокормить...»

Но с другой стороны — гордились ей люди. Уйти она на Куту, обидела бы сородичей, предала их в тяжкую пору, дело Кинкэ предала бы... В стойбище Кинкэ хорошо помнят...

— Ох-хэ! — ворочается ночами бабушка Эки, прислушиваясь к дыханию внука, отгоняет тяжелые мысли — не оборвалось бы раньше времени сердце. Устало оно за последние годы. Но как бы там ни было, ей жить надо, внука растить. Вот поднимется Амарча, можно будет уйти к сыновьям. Что-то сны нехорошие стали сниться. Чуть закроет глаза, и тотчас лодку уви-

дит, а в ней Кинкэ, Куманда, Кутуй... На войну плывут... И кричат что-то, но что — не понять. Песня слышится... «Прощание птиц...»

ЗВОНКОЕ ЛЕТО

Амарча уснул под вздохи бабушки и шелест ветра, жалея об улетающих птицах, об уходящем солнце, о промелькнувшем лете. «Если бы всегда было лето, сытно жили бы, можно было б вечно играть у реки и в лесу!»

Звонкое, веселое лето прокатилось, как один долгий-долгий день. Много больших и маленьких открытий сделал для себя Амарча.

...Вот отшумел на реке ледоход, и над тайгой крылом куропатки повисли белые ночи. Раскаленным бубном загуляло по синему небу солнце, глухарьиной бровью заалели вечерние закаты... Старики сидели допоздна у костров, молодежь водила «ёхорьё» — хоро-водный танец, а ребятишек манила к себе река. Чуть повыше стойбища был овраг, по нему струился звонкий, веселый ручей, впадавший в небольшой заливчик, вот здесь и играли летом ребята. Дно оврага было глинистое, топкое, а по краям — с одной стороны пологое и сухое. Весенняя вода не затопляла это место, и в русле оврага образовался тихий омут, в котором ребятишки ловили рыбу. Окуньков, ельчиков, сорожек тут же жарили на костре, обжигаясь, уплетали за обе щеки. Но это было только в начале лета.

Зазеленела трава, ребятишки постарше научили малышей копать сладкую сарану, находить дикий лук. А когда в тальниковых кустарниках заалели гроздь красной смородины, в бору засинела голубика — можно было вообще не питаться дома. Тайга и речка — кормилицы наши! Наедались ребята и, как пузатые комары, падали в траву или начинали играть в разные игры, дурачась, радуясь всему миру.

Что хочешь, то и делай летом! Хочешь, на траве валяйся, хочешь, купайся до посинения. Это Костак и Воло нельзя, им вечно надо спрашивать разрешения, иначе — или простуду схватишь, или змея укусит, или вовсе утонуть можно. А нашим ребятам и Митьке — все позволено. Целыми днями они на воздухе, загорели до черноты, задубели, потрескались ноги — ни сучьев, ни

колючек не чувствуют. Летом нам сам Харги не страшен!

Ягодка смородинка, выросшая в тальниках,
Отчего ты красная?
Ягодка голубика, выросшая в бору,
Отчего ты синяя?
Ягодка черемушка, выросшая на бугорке,
Отчего ты черная? —

поют летом ребята.

До самой осени, радуя сердца родителей, звенят детские голоса на речке, в лесу. Наигравшись вдоволь, сидит ребятня на поляне. Отсюда, с полянки, хорошо видно все, что делается в стойбище. Белеют чумы, домик Госторга; жиденькие дымокуры, к которым жмутся олени, хотя паутов и комаров сейчас мало; лежат, отдыхая перед охотой, собаки. Мужчин тоже не видно, и они прохлаждаются в тени, на ногах только женщины. Из чума дедушки Бали вышла Пэргичок, из-под руки смотрит в их сторону — выглядывает Палету. Митька, подражая ее голосу, громко пундосит:

— Па...ле...та...а!.. Солны...ы...шко...о мо...е...е!..
Иди...й пи...ить ча...ай!

Всем стало смешно. Палета засмутился, потупился. Пэргичок услышала Митьку, кричит:

— Митькэ, чертенок! Лица у тебя нету!..

Митька хохотнул и затянул песню:

Пэргичок, хлюпкий нос,
Навьючь свой скарб на моего олененка,
Увезу тебя далеко,
Вон за тот поворот реки...

Ребятишек поражает смелость Митьки. Надо же, не стесняется дразнить взрослых! Забавные люди эти лучи: то ничего не разрешают своим детям, то совсем не следят за ними. А Пэргичок он смешно и точно передразнивает, она в нос говорит, гундосит.

— Палета! Чай пить! — зовет Пэргичок.

— Палета! Чай пить! — тянет и Митька.

— У, варнак!.. Поймаю, уши оборву! — грозитя Пэргичок.

Палета нехотя поднимается и идет. Чай, еду он никогда не пропустит.

Так, валяя дурака, лежат на траве ребятишки, лениво перебрасываются словами. Вдруг Амарча вскочил, закричал заполошно:

— Бурундук! Бурундук!

Шагах в десяти от них по колодине бежал полосатенький зверек. Хвостик поднят, щеки смешно надуты. Услыхав крики, юркнул на сосенку.

— Пачка махорки! — схватив палку, Митька первым ринулся к дереву, за ним остальные. За шкурку бурундука Мирон Фарков давал пачку махорки, вот и охотились за ним. Правда, взрослые считали охоту на бурундука пустым занятием, ружьем и не помышляли его стрелять — чего зря тратить заряды, шкурка того не стоит. А ребяташки те, конечно, ни одного зверька не пропустят.

Начали кидать палки. По уговору зверек достается тому, кто его собьет или чья собака задавит. Но кидать палки — силенка нужна, у малышей ее не хватало. И бурундук чаще всего доставался Митьке или Костяке, самым большим ребятам.

— Эй вы, мелочь пузатая, подождите, — взял на себя команду Митька, — надо собак позвать.

Стали звать, свистеть. Амарча, конечно, тоже мог бы позвать Качикана, но бабушка не разрешала натравливать охотничью собаку на этого пустякового зверька. Испортиться может пес, станет потом каждую мышь облаивать.

Прибежали щенки, запрыгали, завизжали, стараясь лизнуть в лицо, весело завиляли хвостами, ожидая, не кинут ли им какое-нибудь лакомство. Пришел и старый пес Палеты Амикан, черный, лохматый, будто медведь. Митька пнул его ногой:

— И ты, пропастина, сюда приперся! Пошел вон!

Амикан лениво отскочил в сторону, не понимая, в чем дело. А Митька помнил его проделку, может, оттого и Пэргичок дразнил.

Летом бедного Амикана не кормили, вот и приходилось ему, как говорили, на старости лет самому добывать себе пропитание. Уходил он куда-нибудь в лес, и несколько дней не видно его было на стойбище. Возвращался всегда отъевшимся, с большим пузом. Кого уж там он находил, неизвестно. Наверно, птиц давил, разорял гнезда... Но однажды Егор Тириков застал его за воровством. Зубами Амикан выволок морду с рыбой из заездка, разорвал ивовые прутья и с удовольствием уплетал вкусную серебристую рыбку. Ай да

Амикан! Настоящий медведь! Ни одна собака до этого не додумывалась, а он сумел.

— Я полезу на дерево, а вы тут караульте,— распорядился Митька.

Сосенка была небольшая, Митька ловко, не хуже бурундука, полез вверх, а зверек заметался на суку, замер. Митька размахнулся палкой, стукнул по бурундуку, да промазал—удар пришелся по ветке, стряхнул зверька.

— Держи! — заорал Митька.

Но не успели опомниться ребяташки, как быстрее и выше всех подпрыгнул лохматый Амикан и на лету поймал бурундука. Ребяташки бросились к нему, хотели отнять, но он убежал.

Слез с дерева Митька, насупился. Теперь что — кричи не кричи, после драки кулаками не машут; все, пачки махорки — нету!..

Потом ребяташки рассуждали:

— Ружье бы, чик, и готово! И собак не надо!..

— А как без собак бурундука найдешь?..

— А можно так. Отыщут его собаки, поймать их и привязать. А потом ружьем — чик!

— Хэ! Ружьем-то, мелкашкой, я бы за день сотню нащелкал,— расхвастался Митька.— Скажи, Амарча, как я уток брал?.. Смотрим, летят утки. Я поднял двухстволку, бац из одного ствола, тресь из другого — затрепыхались в воздухе.— Митька даже руками показал, как утки трепыхали крыльями.

Ребяташки молчали, слушали Митьку.

— Вот у нас собака была, Буска,— продолжал он.— Ни у кого такой собаки не было. Амикан только воровать может. А Буска убежит, бывало, вперед, к озеру, высмотрит там и обратно ползет. Тятя рассказывал, однажды, мол, пошел на охоту, скрадываю уток. Смотрю, навстречу мне Буска ползет. «Что?» — спрашиваю у собаки. А она мне на ухо: «Утки там!» «Много?» — Буска перевернулась и давай все лапы показывать, много, мол. И точно — уток полно было!..

— Трепач твой тятя,— перебил Митьку Костак,— а ты веришь.

— Ты сам трепло! — не сдается Митька.— У тяти знаешь какое ружье! Ты не смотри, что оно старенькое, ого, по пять штук на озере сшибает! Одним, выстрелом!

Ребятишки знают, что Митька погибает, но слушают, интересно рассказывает.

— Вон, если не веришь, спроси про ружье у Амарчи. Он скажет, как я стрелял,— оборачивается Митька к Костяке.

— И Амарча тоже может наврать.

— Тебе отец не разрешает брать ружье, вот ты и завидуешь,— злится Митька.

А Амарча действительно вынужден был подтвердить слова Митьки,— он ведь нынешним летом, вернее весной, ходил с ним на охоту.

До Гайнды — Лебединого озера — от стойбища далеко, километров пять, наверно, но уток там всегда много. Ходить туда один Митька побаивался, говорили: там после зимней спячки разминает свои лапы медведь; вот он и заманил с собой Амарчу, пообещав научить стрелять.

После каждого удачного выстрела Митька заплотом бегал по кустам, бухая отцовскими ичигами по лывам, радовался добыче и все тянул с учебой, не давал стрелять Амарче. Азартным больно оказался. Потом все же сжалился, видя, что Амарча вот-вот расплачется. Но Митька был Митькой и стрелять решил научиться с вывертом.

Они прятались за пеньком, надежно укрывавшим их от заливчика, где плавали игравшие свадьбы птицы, и оттуда, почти вплотную, падал по ним Митька. Амарчу он решил посадить на пенек:

— Ты маленький, тебя не заметно, только не шевелись, а как полетят — пали...

Только Амарча уселся на корточки, как вдруг над головой что-то засвистело и рядом, растопырив крылья, плюхнулись на воду серые утки. С бьющимся сердцем Амарча поднял тяжелое ружье и, как учил Митька, прищурил один глаз, прицелился, значит, потом нажал на курок. Дым выдетел из ствола, раздался грохот, кто-то сильно толкнул в плечо, и Амарча полетел с пенька.

Ружье вырвалось из рук и, ударившись о пенек, еще раз грохнуло. Амарча только видел, как над головой его пролетел огонь, обдало его пороховым дымом, и не помнит, как оказался на земле. Очнулся, когда Митька стал тормозить его. Лицо у Митьки было бледное, перепуганное.

— Амарча, слышишь... Амарча... Ты никому не говори, ладно?.. И я никому не скажу, понял... Вставай, посмотри, ты убил утку! Никому не говори, слышишь, Амарча, а этих уток мы с тобой поделим, договорились?.. Я знал, что ты молодец!..

Вот такая тайна была у них. Амарча знал, что если дойдет до бабушки, тут уж и ему, и Митьке несдобровать. Хорошо, что Митька не проболтался.

* * *

В стойбище мясо! Большое мясо!

Приплавил его Ургунчэ.

В полдень он спустил на воду берестянку и поплыл вверх по речке к Юктэкону, к солонцам, хотел покараулить сохатых, а к вечеру уже притянул на ремешке неободранную матку-лосиху и огромную медвежью тушу. Не мог один вытащить это Большое мясо на берег, в воде обдирать не стал, сообразил — зачем руки мочить да одному маяться, стойбище-то рядом, там мужики и без него освежевать могут. Давно люди не ели свежего мяса.

— Дочки, встречайте отца! Сегодня мозгочить¹ будем. Добрый Дух удачу послал! — заглянула в чум Сарта и, схватив берестяной тазик, выскочила на улицу.

В такие редкие дни, когда Добрые Духи посылали мужу удачу, тихая, молчаливая Сарта, по словам бабушки — вся в отца, преображалась, становилась возбужденной и говорливой. «Вот, — рассуждала она вслух, — надо бы хорошую берданку купить Ургунчэ, глядишь, с мясом и пушницей будем, тогда и еда не станет ежедневной заботой».

Весть о добыче Ургунчи быстрокрылой птицей облетела стойбище. Стар и мал сбежались на берег Суринды. Привели за посох и слепого Бали.

Крупная комолая матка уже наполовину была вынута из воды, а медведь-амикан, словно прикрыв лапой глаза, лежал покуда в реке.

В сторонке, на траве, в кругу благодарных слушателей, отмахиваясь руками от комаров, сидел Ургунчэ,

¹ Мозгочить — есть свежее мясо, мозг добытого на охоте животного.

повязанный женским платком. Довольный, он как бы нехотя отвечал на вопросы сородичей.

Летом у нас на лосей, или, как говорят, на сохатых, охотятся на солонцах, куда они приходят ночью полакомиться вкусной солью, либо подкарауливают животных в воде, где лоси спасаются от комара и паута.

Увидишь возле реки свежие лосиные следы, считай — добыча твоя. Опытный охотник окинет взглядом тайгу и сразу узнает, где сейчас зверь. В зависимости от направления ветра выберет место для костра, чтобы скоротать время до вечерней зори. И чтобы — ни единого звука, ни запаха дымка; величайшая осторожность нужна, иначе — увиденные следы уже не добыча, нюх у сохатого лучше собачьего. Вечером он выходит на берег, чтоб искупаться в реке, полакомиться свежими водорослями.

Мастером охоты на воде считается в стойбище Шилькичин, вернувшийся с фронта. У него и собака приучена к этой охоте. Хоть вплотную подплывай к сохатому, ухом не поведет, пока не подашь ей знак. Но когда уж получила команду, пулей выпрыгивает из лодки, ничем ее не удержишь. И если ранишь зверя, не выпустит его из воды, так перед звериной мордой и будет маячить да лаять.

И лодку свою Шилькичин умеет маскировать лучше других. Ветками, тальниковыми прутьями так укроет, что не сразу поймешь — лодка это плывет или какая коряжина. Недаром Шилькичин снайпером был на фронте. Там тоже, говорят, нужно было маскироваться.

А Ургунчэ просто-напросто повезло. Выплыл он из-за кривуна и увидел около берега какой-то темный валун. Пока соображал, откуда, мол, тут камень взялся, тот зашевелился, зафыркал, и... голова показалась, водоросли изо рта торчат.

И с медведем такая же история вышла. Бывает же так. Плыл Ургунчэ, сосал трубку, тянул лосиху на ремешке, радовался удаче. Представлял он себе ту суматоху, когда все увидят его с добычей. Вот уж побегают жена с ребятишками, разнося по чумам нимат! И еще представлял, как будет рассказывать об охоте.

Плыл Ургунчэ, улыбался. Вдруг что-то бухнулось в воду, словно скала свалилась. Ургунчэ вздрогнул, схватил ружье и замер — шум был за поворотом реки. Глядь — медведь на тот берег переправляется...

Вот уж действительно повезло...

Теперь сидит Ургунчэ довольный в кругу мужиков, рассказывает... Разделкой мяса Мада руководит. Заметил он, что из крупного вымени лосихи молоко течет, позвал ребят:

— Гляньте, добро пропадает... Ну... кто первый?

Долго уговаривать никого не пришлось. Прильнули к вымени, сосут, облизываются — вкусно!

— Дайте и нам полакомиться печенкой, слюнки текут, — отстранили их мужики.

Жуют мужики прокуренными зубами теплую печень, кровь течет по губам. Угостили ребятешек. Хорошо! Каждый бы день так!

Вытерев рот рукавом и, словно бы ни к кому не обращаясь, Мада вдруг выкрикнул громко:

— Где наши ко...о...тлы...ы!

Что?.. Все глянули на «хозяина», лежащего покуда в воде. Посмотрели на Маду, заулыбались. Общая трапеза всем по душе. Почему бы не вспомнить старинный праздник, когда по три дня продолжались ритуальные игры, пляски, песни, посвященные амикану, хозяину тайги и предку эвенков?

Молодец, Мада!.. Хоть сам ты и никудышный охотник, однако без чудачеств твоих скучно было бы жить, не лишней ты в стойбище человек! Здорово нынче придумал! А то уж эвенки забывать стали древние праздники да обычаи...

— Где наши котлы! — кричат вразнобой мужики.

— Начальник идет! — сказал вдруг кто-то, и все обернулись, затихли.

От стойбища к берегу спускался Кирэктэ — председатель Кочевого Совета. Забеспокоился Ганча, побаивался он своего начальника. Неужто придет Кирэктэ и скажет по-русски: «Я — НКВД!» — и испортит всем праздник.

Кирэктэ был нездешним, его род людей-дятлов живет по Катанге-реке, матери рек эвенкийских. Его толком никто и не знал, но, говорят, одним из первых среди эвенков он к новой власти пристал. И еще говорят, перед самой войной многим охотникам жизнь он испортил. По его указке хватали людей и увозили куда-то. Никто из них домой не вернулся. Теперь вот к нам на Суринду его прислали, порядок на фактории наводить. Какой порядок — никто не понял. Сидел Кирэктэ

за столом и ничего больше не делал. Ганча, допустим, так тот шибко грамотный, учился даже в районном центре Нербоко. Умеет к обычным буквам приделывать разные закорючки, и письмо его выходит узорчатым, как следы голодной мышки. За это его, наверно, и сделали в Совете секретарем, там писать надо. Вот он и сидел в конторе, писал, а что делал Кирэктэ,— не понятно. Настоящим-то начальником в стойбище и на фактории был председатель артели Черончин. Вот ему, бедному, достается. С утра до поздней ночи он на ногах...

Всем запомнилась первая речь Кирэктэ: Говорил он тогда по-русски. Наверное, потому, что на суглане тогда районный начальник присутствовал.

— Я — чилен вэкэпэ искобках маленькое бэ! — Я — энкэвэдэ! А кто будит хулиган и шпион, будим делать чурма!

Кому он тюрьму обещал, так и не поняли, поскольку хулиганов и шпионов на фактории не было. Но на всякий случай стали его опасаться.

Неужто и сейчас Кирэктэ придет сюда и испортит всем праздник?

Но Кирэктэ, видно, сам захотел полакомиться, все же эвенки:

— Что, мозгочить будем?.. — спросил, и глаза его засияли.

— Праздник хотим устроить, — ответил за всех Шилькичин. — Русские празднуют свои праздники, мы тоже решили устроить проводы «дедушке», пусть будет всем нам удача.

Слова фронтовика придали смелости людям, и они, уже не обращая внимания на Кирэктэ, оживились.

Женщины отстранили от мяса мужчин — что они понимают в женских делах, хоть и кричат везде: «У женщин ума нету!» Пусть чем другим занимаются. Ребятишек отправили собирать дрова, велели принести большие котлы, а сами, посоветовавшись, принялись промывать медвежьих кишки. Именно из них получается самая вкусная еда.

Из толстой кишки, вывернув ее салом внутрь, они приготовят «кучи» — жирную колбасу, а из тонких — «сбуюксэ» — кровяную. Тонкие кишки годятся еще на «хрящи», их нарежут кусочками и вместе с лепестками цветущей сараны опустят в кипящую воду.

Ээ! Берегите крови! Кто это хочет вылить такое добро в воду? Кровь пойдет на заправку бульона. Если добавить в него голубицы, будет густой наваристый суп, не еда — объедение! Желудок собакам?.. Кто это там распоряжается? Пергичок, что ли?.. Промой, промой его хорошенько, потом наполнишь кровью и опустишь в котел. Попируем сегодня, славная будет еда!..

Обработав кишки, женщины закричали:

— Не пора ли будить Амикана?!

Мужчины, отложив свои трубки и тоже посовещавшись, помогли встать на ноги слепому Бали, и он, раскинув руки-крылья, вытянул шею, словно птица, напрыгавшись, издал резкий гортанный крик ворона.

Мужики, тоже расставив руки, ответили нестройными голосами ворону Бали, нашедшему падаль и сзывающему собратьев на пир. Дедушка Бали, подняв плечи и растопырив руки, запрыгал из стороны в сторону, издавая клекот. Ему стали подражать охотники. Начиная танец, в котором вороны радовались найденной добыче.

Глядя на танцующих мужчин, застыли женщины и ребятишки на берегу. От них пока ничего не требовалось, нужно лишь соблюдать кое-какие правила: не чесать голову, не трогать лезвия ножей, не оглядываться назад.

Покружившись, мужчины снова взяли дедушку Бали под руки и подвели к туше медведя, все еще лежавшей в воде. Он ощупал загривок, бока, дал команду вытаскивать зверя на подстилки из тальника:

— Амака! Отец отцов!.. Ты славно популял в лесу. Сало на тебе в три пальца!..— обратился он к медведю.

— Мне надо в ладонь,— отвечал за медведя Шилькичин,— зима-то длинная, в три пальца мало...

— Эко, мало,— будто бы удивился дедушка Бали.— Нам-то ты и такой хорош. Лишь бы не шатался по всей тайге, пугая людей. Давно надо было перебраться в наше стойбище, знал ведь, что можешь принести нам праздник.

— Забывать вы меня стали... Да ведь есть у меня и свой чум — берлога.

— Зачем тебе мокрая, вонючая берлога? Шубу свою в ней испортишь, свалется шерсть, смотреть не на что будет.

— Привык я,— снова отвечал медведь-Шилькичин. Потом обиженно упрекнул: — Но коль вы мне продырявили шкуру, посмотрю, как живете.

— Плохо мы живем, сам видишь,— пожаловался Бали,— а на то, что у тебя дырка на голове появилась, ты, дедушка, не должен на нас обижаться. Не мы это сделали, пуля!..

— А пуля чья?..

— Ружья!..

— А ружье чье?..

— Эко, дедушка, будто не знаешь,— упрекнул медведь Бали.— Ружье большеносых людей!..

Медведь промолчал, значит, доволен был объяснением. Старик сделал знак, и его снова подвели к медведю, он нашел его голову, раскрыл пасть и вставил туда небольшую палочку, приговаривая:

— Дедушка, зевай!.. Зевай, дедушка!..

Теперь душа медведя могла свободно покинуть тело и не мешать свежевать его. Шилькичин, выполнявший обязанности старшего охотника, подал знак — снимать шкуру, и охотники хором заголосили:

— Хэ, муравьев-то сколько!..

Душа медведя должна была понять этот крик следующим образом: не мы, дескать, будем твою шкуру снимать, а муравьи тебя будут жалить и пожирать твоё мясо. Однако медведя и его душу это не удовлетворило, и он голосом Шилькичина заговорил:

— Что-то не похоже на муравьиные укусы!..

— А это уже мыши и горностаи тебя кусают! — отвечали охотники.

— А кто это долбит, как молотком?

— Это дятел, дедушка!..

Разговор разговором, а руки охотников делали свое дело. Слегка надрубили шею и начали осторожно отсоединять позвонки, вскрыли грудь, вынули легкие, сердце, печень и, не отделяя их от горла и головы, сложили кучкой подле туши.

Началась трапеза. Шилькичин разрезал сердце и первым съел кусочек, второй подал дедушке Бали, а потом и всем остальным.

Причастившись, завели ритуальную пляску. Одни, взмахивая руками, будто крыльями, изображали прыгающее и дерущееся из-за падали воронье, другие, раскинув руки, кружили сь, подлетали на пир. Затем пронзительно

закаркали; закричали, созывая всех обитателей тайги. И тут зашевелились женщины и дети. Это их — горностаев, лисиц, волков, кедровок и кукушек — сзывали вороны. Зацокали горностаи, затрещали кедровки, завиляла хвостом лисичка. Люди считали, что, глядя на этих «собратьев-таежников», душа медведя поверит, что не они убили его, и не будет им мстить. Переселившись в нового медведя, она, эта душа, будет ходить по тайге, не причиняя им зла, пока снова не станет добычей охотников.

Попрыгав, покружившись, изображая того или иного зверька, женщины и дети отошли в сторону, предоставив мужчинам возможность свежевать дальше. Те осторожно, стараясь не раздробить ни единой косточки, стали расчленять тушу.

Наступил черед прощания со зверем. Вынутую из туши брюшину положили поодаль, и все участники праздника поочередно стреляли в нее из маленького детского лука. Выстрелив, пятясь задом, они отходили, точно так, как во время прощания с уходящим в Нижний мир человеком.

А солнце между тем повисло на верхушках деревьев: Над стойбищем опускался теплый летний вечер. Со стороны Лебединого озера слышался крик серенького куличка — ликлякуна; кто-то потревожил в лесу северного дрозда — киви, эта птичка раньше всех встает и позже других ложится. А вот подал свой тревожно-протяжный голос бекас — тыгдэнки, предвестник дождя.

В костре весело трещали сухие дрова. На крепкой березовой жердине висели три черных котла, в которых взбулькивало и бурлило ароматное варево. Всем здесь заправляли Сарта и Пэргичок, а между чумами и костром сновали посыльные ребяташки. Они носили чашки, ложки, низенькие столики, берестяную посуду. Мужчины, в ожидании Большого мяса, сидели на берегу. То и дело раздавался смех. Это Мада смешил мужиков.

— Нынче возле конторы встретил учительницу, — с серьезным видом рассказывал Мада. — И понял — нравлюсь я ей. Пожалуй, сватов зашлю...

Все так и покатались со смеху. Мада после смерти жены жил у своего племянника. Говорили ему: женись, мол, возьми какую-нибудь старушку, все легче будет. Но Мада только отмахивался: «А ну их...»

Тамару Дмитриевну, учительницу, все знали. Добрая, веселая девушка. Вот только с глазами у нее что-то неладно, моргала часто, словно подмигивала. Об этом и рассказывал Мада:

— Смотрю — идет. Светленькое платьице на ней, насквозь просвечивает. На ногах обутка смешная — каблук, как иголки, в землю насквозь уходят. И идет как на цыпочках, упасть можно. Ну, да я не об этом... Гляжу, улыбается вроде. Улыбалась-улыбалась и раз... подмигнула! Я, конечно, удивился. Давно мне девушки глазами не строили, а тут вдруг такими синими подмаргивает!.. Она что-то залепетала по-своему, а что — понять не могу. Потом раз — и снова мне подмигнула! Я опять удивился. Огляделся по сторонам, назад обернулся — никого. Оказывается, точно, мне она подмигивала! Завтра же сватов зашлю!

Отсмеявшись, мужики послали Маду следить за варевом, а сами, взявшись за руки, завели хоровод. Запевалой выбрали дедушку Бали. В молодости он хорошо справлялся с этой ролью, пусть тряхнет стариной. Соблюдая приличия, дедушка Бали начал песню с восхваления охотничьих достоинств Ургунчи. Конечно, Бали маленько загибал, вознося Ургунчу, но это беда не большая, можно простить слепому, привыкшему видеть в мужчине прежде всего кормильца не только своей семьи, но и тех, у кого его нет. Может, добрые слова подействуют на Ургунчу, и он почаще будет вспоминать, что он тоже мужчина?

Дедушка Бали пел, голос его становился все громче; хоровод, постепенно ускоряя темп танца, дружно вторил ему.

Вот уже танцоры закружились так быстро, так стремительно, что петь стало невозможно. Слова сменились резкими ритмичными выкриками, напоминающими хорканье оленей. Кто-то не выдержал темпа, разомкнул руки, свалился на землю. А пляска все продолжалась и продолжалась...

Мада, убедившись, что варево готово, прокричал вороном, созывая на трапезу.

Хоровод замер; люди отдышались немного. Потом все стали изображать стаю птиц, прилетевшую на зов собрата. Женщины, раздобыв где-то угля, вымазали ребятишкам лица, руки, чтобы они больше походили

на воронят. С клетотом, карканьем все приблизились к костру.

Ели, громко чавкая, обжигаясь, похваливая мясо и Ургунчу.

После трапезы снова начались игры и танцы. Мужчины увлеклись стрельбой из лука.

— Стреляй в меня! — кричал Шилькичин председателю артели. — Не отвык ли я?

Черончин натянул лук и пустил стрелу. Шилькичин ловко увернулся, и стрела, не задев его, пролетела мимо. Ребятишки сбегали за этой круглоголовой стрелой, предназначенной для охоты на бурундука. Черончин снова натянул лук. Шилькичин и на этот раз увернулся.

— Ты как горностаи!..

— Вставай на мое место, — предложил Шилькичин.

— Нет, не получится у меня! Пусть Ганча попробует...

— Смотри в оба! — предупредил Шилькичин Ганчу и выстрелил. Хотя Ганча был тонким и гибким, но не было у него нужной сноровки, стрела попала в полу зипуна.

— Убьешь! — закричал Ганча и отскочил в сторону. — Ну ее, эту игру, останешься еще без глаз...

Парни прыгали с шестом в высоту, а ребятишки — через аркан, который вращали в руках две девочки.

Раздался крик ворона — зов на продолжение проводов амикана. В руках у Мады была медвежья голова. Острым ножом он осторожно вынул сначала один глаз, потом другой и под одобрительные возгласы завернул их в бересту, велел отнести в лес и захоронить по старинному обряду — на могильном помосте. Голову передал женщинам, коротко приказав: варите!

Четверо охотников понесли медвежьей глаза, как человека, ушедшего в Нижний мир. На молодой лиственнице сделали две глубокие зарубины и вложили туда глаза:

— Дедушка, дай нам удачи! Примани нам новую добычу!.. Дедушка, дай нам удачи! Примани нам новую добычу!

Съев мясо с головы, череп оплели ерником и тонкими тальниковыми прутьями; совершили особый обряд — борьбы с медвежьей головой.

— Амарча! Где Амарча? Иди сюда! — Смущенного, растерянного парнишку вывели на середину круга. — Ну, сынок, не подведи. Ты должен стать кормильцем своей бабушки, померяйся силами с хозяином тайги. Будет ли он бояться тебя? Не стесняйся, тут все свои. Разве ты не хочешь стать удачливым охотником, кормильцем своей бабушки?

— Хочу!

— Ну, поборись тогда, а мы посмотрим!..

Амарча навалился на череп, но тальниковые прутья были сплетены так, что уронить его было невозможно.

— Хо! Амикан не поддается! — кричали болельщики. — Силен хозяин тайги!

Амарча снова навалился на череп, но тот только раскачивался из стороны в сторону и никак не ложился на землю.

— Амарча, разве ты не умеешь бороться? Ноги-то твои для чего? — подсказал кто-то.

И, как в настоящей борьбе, Амарча заплел своей ногой обе «ноги» головы, положил ее на бок. Раздался одобрительный возглас. Амарча коленом прижал голову к земле и поднял руку, как победитель.

— У, расти большой, Амарча! Из тебя выйдет настоящий охотник! — похвалили его.

Амарча сдержанно улыбнулся.

Поверженную голову и кости, чтобы зверь имел все части тела, унесли в лес и захоронили рядом с глазами на высоком кедровом пне.

— Дедушка, прощай! Передай приветы всем нашим родственникам. Скажи, что род эвенков еще живет, не кончился род!.. Спи спокойно!..

Проводы хозяина тайги состоялись. Праздник окончился. В старину он продолжался бы три дня.

...В сторонке дедушка Бали рассказывал ребятишкам сказку про Амикана.

Когда-то в далекие времена, когда еще только земля начиналась, жили в лесу сестра с братом, и больше никаких людей не было. Однажды девушка копала на берегу реки сарану, к ней подкрался медведь и утащил ее в свою берлогу. Стала она его женой. И родились у них дети.

Брат этой девушки, скитаясь по тайге, встретился

как-то с медведем и пустил в него стрелу. Умирая, медведь признался, что он его зять...

От детей этой девушки и медведя начался род таежных людей — эвенков. С той поры и пошло, что медведя мы чтим как нашего прародителя. Раз он хозяин всей тайги, от его воли зависит удача охотника, а стало быть, и благополучие таежного человека. Разные части тела медведя эвенки считают священными, обладающими чудодейственной силой: одни предохраняют людей от болезней, другие приносят удачу на промысле и обеспечивают успех в хозяйстве, третьи отгоняют Злых Духов...

И еще есть песня, в которой при проходах хозяина тайги поется:

«О дедушка, наш прародитель, ты уходишь с Дулу — со Средивной земли!.. Унеси приветы нашим братьям и сестрам. Передай им, мы живем хорошо: едим вкусное мясо, лакомимся печенью оленей и лосей... Ты уходишь в Хэргу — в Нижнюю землю, тебя ласково встретит старуха мать, и вещицы птицы, Вороны, которым ты принесешь угощение, радостно будут кричать. И мы, провожая тебя, говорим: «О, дедушка, наш прародитель, принеси нам удачу!..»

ИМЯ ЧЕЛОВЕКА

Однажды вечером Мирон Фарков завел разговор об именах эвенков. Не могут русские прозвище отличить от фамилии рода. Ну, что сложного, казалось бы, в имени и фамилии Мады Муктэ? Мадуча имя, а Муктэ фамилия. Он из рода Кабарги, люди-кабарги, вот и все. Правда, для простоты имя у него маленько обрезали, Мадой зовут, но он не обижается, да и нет ничего обидного в сокращении, наоборот, даже гордиться можно. Не каждого так зовут. А поскольку у него в стойбище тезок нет, фамилию даже не произносят, всем понятно, кого зовут Мадой.

Бирагиры — это речные люди, Кондогиры происходят из рода уток-лутков, Дюкугиры — выдры... Для русских, наверное, трудно, растолковывать надо, а нам понятно. К примеру, дедушка Бали, пока не ослеп, носил имя — Амарча. А Амарча — это чуть запоздавший. Кто знает, куда запоздал дедушка Бали. Может, его родители полагали, что он появится на свет ночью, а

он; наверное, заявил о своем рождении только утром? А может, он был тем желанным мальчишкой, который сможет продолжить род своего отца, да все запаздывал, не приходил в этот мир... Кто теперь знает... Нынче редко услышишь: «Эй, Амарча, Чемда!» Чаще зовут просто слепой, то есть Бали.

Давно так пошло. Остался человек без глаз, люди головы не ломают, зачем зря умом надсаждать, давно уже есть придуманное имя — Бали; хромой — Доколок; глухой — Куйки. У Путугилов из рода уток-тяглоков в самом дальнем чуме фактории родилась девочка с кривым глазом, тоже не мудрили долго — назвали ее Чокоты, кривая. Обижайся не обижайся, а обычай не переделаешь, языки у людей не отнимешь.

Родилась у Сарты дочь. Голова девочки оказалась немножко помятой и похожей на рыбу. Вот и дали ей имя Сури, Суричок — сиг, сиженок.

Костю, как только Фарковы приехали на Суринду, сразу назвали на эвенкийский лад — Костака, а Вовку, меньшого, — ласково Воло, а прозвище — Лягушонок — так оно от отца пошло.

— Егор, а тебя-то как кличут? — спросил Мирон.

— Меня-то? Меня Сырбамэ кличут — глаза, на уху похожие, — нехотя признался тот.

Мирон улыбнулся:

— Вот дьяволы... Всех окрестили... Одного понять не могу, почему у эвенков, что на Подкаменной Тунгуске живут, имена и фамилии русские, а здесь — черт знает что? — снова заинтересовался Фарков.

— Ты, паря, меня слушай, — оживился Егор. — Они темнота, что тебе рассказать могут, меня слушай!. Я же, едрена мать, ангарский. Фамилья моя, правда, не ихняя, там больше Усольцевы, Пановы, Карнауховы да Брюхановы, но я — чистокровный ангарец, без всяких примесей. Ангарец — это как народность какая. Из деревни Паново я. Наши-го мужики веками эвенков с Подкаменки покручали¹, пещедралом ходили. Крещеные там эвенки, вот и носят имена православные и по-русски толмачат. Я-то, думаешь, как тут очутился? Давно я их знал, ну и, когда приперло, куда податься, махнул в эту глушь... А эти-то, суриндинские, бегали раньше от русских, они прямо лешаки лешака-

¹ Покручать — снабжать необходимыми товарами.

ми. Конечно, купчишки их всяко шерстили, вот и боялись. Те, что на Куте живут, они от власти Советской удрали, дикие вовсе. И нигде не записаны, вроде их и на свете нету. Перед войной-то уж как агитировали да в артели звали — нет, куда там, еще дальше откочевали... Ты, Мирон, сам-то из каких краев будешь? По фамилии должен быть из «швоих ш кошово мыша?», — хохотнул Тириков.

— Угадал. С верховьев Нижней Тунгуски, да только давненько там не бывал, съездить бы как-то надо...

— Тянет родина-то, — вздохнул Егор. — Еще как тянет... Так слушай, паря. Главного-то я не сказал... Раньше-то сюда попы из Туруханска приезжали, да ничего у них, грешных, не выходило. Не могли, стало быть, окрестить. Так вот, однажды, говорят, списались они с якутским попом с Оленька. Приезжает, значит, тот, а эвенки опять ни в какую: обидятся, мол, наши Духи, вера, мол, наша другая. А попик-то хитрый попался, ученый... Кто согласен креститься, тому он, значит, табачку бесплатно дает, бисеру, побрякушек разных. Повалил народ. На дармовое-то умных много нашлось. Радуетя поп, обхитрил всех. Крестил, крестил он, икону давал целовать, кадиллом, как дымокурём, махал, радый такой, а народу не убывает никак. Откеля, думает, столько нехристей набралось, их вроде бы мало было? На хари-то не может различить, обличьем они все одинаковы: что мужик, что баба — все с косами. Потом заметил: перекрестил, значит, одного лешака, имя ему доброе дал, тот отошел в сторону, ссыпал табачок в кисет и снова к нему. «Ты куда, харя немытая?» — поп-то ему. А тот: «Табачку еще надо!» Хэ! Оказывается, каждого эвенка он по два-три раза крестил, по несколько православных имен надавал. Плюнул, говорят, попик, заругался, не ладно, мол, снова вышло. Покричал, покричал, так ни с чем и уехал. Выходит, эвенки тоже смикитили и его самого обегорили. Вот так с именами-то, Мирон Захарыч. — Тириков усмехнулся, похлопал одного эвенка по плечу. — Правду, друг, я толмачу?..

— Прабда, прабда, — поддакнул тот. — Дабно биль...

— То-то и оно... А ты, Мирон Захарыч, поинтересуйся-ка еще у них, кто когда родился?.. Спроси, никто не знает... Кочсовет пытался завести на них бумажки, да все у них пут перепутано. Вон дед Бали по бумаж-

кам совсем молодой, женить его надо, а другой, даром что ему в сыновья годится, записан стариком.— Тут глаза Егора хитро блеснули, и он, словно открывая какую-то тайну, перешел на шепот:— Я так думаю, паря, тут ведь тоже мудрецы свои были, видно, кумекали, особенно когда на фронт брать стали. Верно говорю?..

— Бумажку начальники писали,— сказал кто-то.

— Вот оно! Писали!— взвился неожиданно Тириков.— Знаем! Кто не темнил, тот и на фронт ушел... Вон у бабки Эки сыновья один другого умнее были, да все полегли. Тогда сын ее, Кинкэ, в Совете сидел, знал, кто когда родился!.. А то— под колодинами нас нащлц!..

Тириков победно оглядел мужиков. Те малость подрастерялись. Но оправдываться перед Егором никому не пришлось, выручил всех Мада. Никто не заметил, как он подошел. А как увидели, враз закричали:

— Ты с Мадой давай потолкуй, он по бумажкам тоже молодецкий!

Но Егор помолчал, помолчал, будто обдумывая свое открытие, потом вдруг заговорил о другом.

— Как-то пошел я на озеро пострелять... Это я еще на Ангаре жил. А уток в тот год видимо-невидимо было. Тучи. Выводок на выводке. Ползу, паря, к озеру, стараюсь за кустиками, за кочками укрываться. Взгляну—утки, не замечая меня, плавают, кормятся, я дальше. Подполз на выстрел и стал ждать, когда они в кучу собьются, уж потом, думаю, жажну, чего зря патроны транжирить...

Тут мужики понимающе закивали, им-то известна цена заряда. В старину из туши убитого зверя приходилось доставать пулю, чтобы снова использовать.

— Дождался-таки. Целый выводок селезней, все крупные, на взлете. Сплылись. Ну, я и бухнул! Дым! Ничего не видно. Рассеялось, смотрю—все на месте, только некоторые трепыхаются.

— Так что, сразу всех и убил?— засомневался Мада.

— А ты думаешь, загибаю, да? Жалко, Митьки нет, он не дал бы соврать. Да я за сто пятьдесят метров дробовиком глухаря снимаю!— Лицо у Егора серьезное, прямо в глаза мужикам смотрит. А те хоть и знают: Тириков прихвастнуть мастер, однако слушают.—

Да не об этом я хотел рассказать,— продолжает Егор.— Это-то ерунда. По одной дробице на утку — и еще выводок уложить можно. Не об том речь. Так вот, паря, слушайте. Развернул я свои бродни, есть у нас такие резиновые сапоги, длинные, как ваши унты-гурумы, воды ни капли не пропускают. Развернул я их и... в воду! Бреду, пробую легонько дно, не завязнуть бы. И все-таки оступился, по самую задницу ухнул! Полны сапоги набрал. Что делать? Плюнул и побрел дальше. Чуть не по горло зашел. Собрал уток, и назад. Но чую, с каждым шагом идти все тяжелее становится. Еле выкарабкался на берег-то. Отдышался малость да давай бродни стягивать. Один снял — мать честная! — караси посыпались!..

— Как караси? Да неужто? — вскрикнул Мада. Он никак не мог в толк взять, откуда там взялись караси.— Вот это удача!..

— Самые настоящие караси! — с деловым видом подтвердил Егор.

— Хороший охотник! У нас таких нету,— засмеялся Черончин.

Потом дошло, и до остальных. Егор тоже заулыбался.

Однако и Мада поддел Тирикова на крючок, в долгу не остался.

— По весне я сохатых и диких оленей не стреляю,— сказал он.

— А в чем дело? — встрепенулся Егор.

— Мясо сухое. Одна кожа да кости, зачем мне такое мясо? Собака залает зверя, я подползаю к нему, шупаю, сухой — и не беру.

— Постой, это как же? А... а... Ну, паря, ты даешь! А я понять не могу. Еле дошло, что салазки гнешь...

— Да он у нас и без ружья с добычей! — снова засмеялся Черончин. Про ружье он не зря вспомнил. В прошлом году Мада и в самом деле соболя без ружья взял.

А дело так было.

По осени Мада ходил за белкой неподалеку от стойбища. Баловался, разминал ноги, как медведь после зимней спячки, чтобы окончательно не разучиться охотиться. В последнее-то время он зарабатывал себе на хлеб заготовкой дров для конторы.

Поутру, как обычно, Мада закинул понягу за плечи и пошел своей неторопливой гусиной, вперевалку, походкой. И, как на грех, вскоре его старый пес Ларбама залаял соболя. А это редкий зверек, за него много платят. Мада хватя рукой по плечу, а ружья-то нету, забыл. Как прислонил к чуму, когда собирался, так оно там и осталось. «Хэ, вот дырявяя память,— обругал он себя,— что же делать?» Ладно, сосенка толстая да суковатая оказалась. Пришлось, как мальчишке, крихтя, лезть до толстых сучков и оттуда, длинным шестом, сшибать зверя. Сбил, а внизу уж его Ларбама подхватил.

Вот про это и вспоминал сейчас Черончин.

БЕЛЫЙ ЛОСЬ, ЧЕРНЫЙ ОЛЕНЬ

Лето — не зима. Зимой знай сиди в чуме да подбрасывай в ненасытный огонь дрова. Скучно зимой — ни гостей, ни веселых игр. Э, да что там сравнивать — лето есть лето.

Летом всегда случаются какие-нибудь гости. Вот и нынче они пожаловали. На мысу Лебединога озера, километрах в пяти от Суринды, раскинули свои чумы оленеводы с Куты, и получилось настоящее стойбище. Там ягельник добрый, есть чем оленей кормить. А у нас они появились совсем налегке, нарядные, гордые. Родственникам кучу разных подарков понавезли.

Тетя Сынкойк с дядей Дапамкэем подарили Амарче летний темно-синий зипун, разукрашенный ярким орнаментом, бабушке Эки — шаль с кисточками, выменянную где-то на соболя, а Ургунчэ с Сартой и девочкам — платья-штаны, игрушки. С бабушкой Эки Сынкойк разговаривала так, словно между ними ничего не было. Наверное, все женщины умеют скрывать свои чувства, ни одним словом не выдадут, что творится у них на душе. Выдать может только взгляд. Бабушка Эки посмотрела на дочь и поняла, что та отступилась, об Амарче больше речи не будет, вздохнула легко и успокоилась.

Гости высматривали невест. После войны в нашем стойбище много вдов оказалось, девочки подросли. Надо думать о будущей жизни, о продолжении рода.

На зависть артельщикам, гости брали в Госторге

много богатых товаров: муку, сахар, пахучий табак и пачки махорки...

— Вот кого раскулачивать надо,— говорил им прямо в лицо Мирон Фарков.— Артельщики, можно сказать, с голоду пухнут, а они, как при царизме, как при старом режиме, господами вырядились, невест высматривают. Будь моя воля, я бы вам ничего не дал. Наели за войну хари-то, теперь баб захотелось!

— Не имеешь права,— отвечали те.

— Тут-то вы шибко грамотные! Соображаете, значит, как выгодней жить? Куда только власть смотрит? Ну, ничего, и до вас доберемся!

— Мы никому плохого не делаем. Зачем сердись-ся? Пушкиной власти вашей помогаем.

— А вы думаете, что наши охотники спят? Они тоже пушнину сдают.

— Ваши-то олени порастеряли, вот и сидят голодные... Мы тут при чем?

— При том,— сердито хрипел Мирон, но товары им отпускал.

К прилавку, за которым, ворочая мешки, ворчал Фарков, оттирая других, протиснулся Ганча Лантогир, секретарь Совета. Из-за спины его выглядывал Дапамкэй. Лица у них — разомлевшие.

— Это же безобразие! — по-русски закричал Ганча. Выпивший, он становился отчаянным и нахальным.

— Мука, сахар, табак, спичка — все давай,— начал перечислять Дапамкэй.

— И спирта,— повелительно подсказал Ганча.

— И спиртэ! — обрадованно подхватил Дапамкэй.

Мирон молча перевернул порвавшийся мешок с мукой.

— Дядя Дапамкэй, бери карабин! — покровительственно советовал Ганча, похлопывая того по плечу.— Все бери, что твоя душа пожелает! Это я говорю, понял? — А потом, видимо подражая какому-то русскому начальнику, обратился к Фаркову:

— Минуточку, минуточку, Мирон Захарыч! Ты центнер давай! Центнер! Это я тебе говорю...

— Не кричи, Ганча, под руку. Видишь, с мешком что?.. — Мирон отмахнулся от него, как от назойливой мухи.

— Так! — вскипел Ганча.— Разобразие! Кто, спрашивается, мешок ломал?.. Кто жулик?.. Оленчик, что

ли?.. Прошу акт! Формляй, давай Кочсовет, я буду бумажка писать! Верно я говорю? — Ганча кричал на весь домик, поглядывая на гостей — какое впечатление он на них производит. Гости помалкивали, а свои усмехались. Крик Ганчи был пустым, все равно с ним никто всерьез не считался.

Фарков улыбулся и прохрипел:

— А вон там, — он кивнул в угол, — рванный ящик валяется.

— Где? — Ганча не понял иронии и опять закричал. — Формляй бумажка! Разобрази!

Слово «разобрази» он любил, повторял к месту и не к месту.

— Дулбун¹ ты, Ганча. Смотри, докомандуешься, самого куда надо оформят...

Но Ганча слов Мирона уже не слышал, так как в домик, опираясь на посох, вползала мать, старая Буркаик. Эта властная, костлявая старуха держала в повиновении всю родню. Был у нее порок — пугалась неожиданного крика, но, придя в себя, могла и посохом огреть, если что не по ней.

Старуха, охая, опустилась на пол, рядом с женщинами. Ганчу как ветром сдуло.

— Кто здесь шумит? — спросила она и, не дожидаясь ответа, обратилась к Сынкойк: — Ох-хо!.. Кости мои... Слава богу, нашла тебя. Собираюсь сходить к вам в гости, да боюсь, не дойду, ноги не слушаются...

— Приходи. У Дапамкэя учуги крепкие, быстро дощат. Я скажу, — приветливо отозвалась Сынкойк.

— Приду, приду, поговорить надо. — Старуха вынула трубку из кисета, болтавшего на боку, набила табаком и, прикурив, стала пускать дым.

— Девка твоя, говорят, красавицей стала, — польстила ей Сынкойк.

— Растет, да что-то женихов не видать.

— Возьми ее с собой. У нас молодежь ночами хороводы водит, спать не дает. Парней много...

— Позову.

...Наконец покупки были уложены в турсуки, упакованы, а дядя Дапамкэй все тянул с отъездом в свое стойбище. Он несколько раз заскакивал в чум к старухе Буркаик, откуда доносились пьяные крики Ганчи,

¹ Дулбун — дурак.

выбегал на воздух к оленям весь потный, лоснящийся. Сыркоик сидела с Сартой и другими женщинами, разговаривая о предстоящих кочевьях. Она не терпела запаха «веселящей воды», как впрочем, и все Хэйкогиры. За это раньше купцы их не жаловали, пьющего-то обдурять легче.

— С Ганчой гуляешь? — строго спросила Сыркоик мужа, заглянувшего в чум. Тот вытер потное лицо платком, которым повязывал голову, выдохнул:

— С начальником маленько можно. Он хорошо помог, вон сколько добра набрали. Карабин обещал.. Прикажет Фаркову...

Положим, заслуга Ганчи тут была невелика, но если достанет ружье... Сыркоик осмотрела свои турсуки и, видно оставшись довольной, — смолчала. Но тут же вспомнила:

— Аргишить будем, не забудь мать Ганчи с ее девкой взять.

— Сказывала она...

Амарча с Воло с утра крутились возле оленей, дядя Дапамкэй обещал прокатить Амарчу. Мечтал покататься и Воло.

— Дядя, возьмем с собой русского, — попросил Амарча. — Он мой друг, тоже на олешках покататься хочет.

Дядя Дапамкэй оглядел лупоглазого Воло, подумал, подумал и махнул рукой:

— Пусть едет. Только отцу скажи...

Воло обрадовался:

— Я сейчас отпрошусь!

«Теперь-то уж точно выпрошу карабин», — решил Дапамкэй.

* * *

Неподалеку от стойбища вырос новый чум. Над ним поставили четыре тонкие и длинные листовенницы, связанные верхушками над дымовым отверстием. Это ным-нгандяк — шаманский чум. Сегодня будет камланье.

Устроить камланье просила старая Буркаик. Пусть Сыркоик не стесняется, Ганча хоть и служит в Совете, все же свой человек. К тому же ради него и надо побеседовать с Духами, узнать судьбу денег, пропавших из стола в Кочсовете.

Пока строили нымнгандяк, Сынкоик готовилась. Сейчас уже лето, природа мирно дремлет, а она, Сынкоик, чувствует прилив сверхъестественных сил лишь весной, когда начинают шуметь ручьи, когда неистово бурлит в своем половодье река. На шаманку тогда нападает тоска, беспричинный страх. Страх лишает ее покоя. Частенько среди белых ночей Сынкоик вскакивает с постели и с диким криком, пугая мужа, бежит в лес, садится на берегу горного потока и поет, поет свои шаманские песни. Когда «кружит» умом, чувствует, как входят в нее Духи умерших шаманов Хэйкогирского рода, Ховоны. С каждым годом буйства ее становятся все страшнее и непонятнее, но и сила шаманская растет с каждой весной. Уже несколько лет назад изготовила она двенадцатизубчатый бубен — столько новых земель появилось у нее на Хэрпу, на земле нижних людей. Дапамкэй гордился женой. А сородичей его такое могущество Сынкоик все же пугало. Шаманка ведь пользуется услугами своих, Хэйкогирских, Духов, хотя живет среди Кондогиров и других родов. При желании она может напакостить им. Но вслух таких опасений никто не высказывал, и лучшие промысловые уголья были в руках Дапамкэя.

Нымнгандяк построили наспех: велика ли беда — пропавшие деньги! Галерею Дарпэ — Верхнего мира, сделали из молоденьких лиственниц, стоявших на берегу «шаманской» земли. Эти же лиственницы прикрывали углубку — входное отверстие.

С противоположной, западной стороны чума соорудили Онанг — галерею из мертвого леса, валежника, символизировавшего Нижний мир, реку мертвых. По краям Дарпэ поставили небольшие столбы — нэлгэт — из молодых лиственниц, вырванных с корнем. Нэлгэт воткнули вершинами в землю, корнями же они были обращены к небу. Это шаманское дерево Верхнего мира, которое растет корнями вверх, а вершиной обращено к людям.

Многого, конечно, недоставало в шаманском чуме, да ладно. Дапамкэй решил, что хватит; главное — присутствуют три мира: Дарпэ — Верхний, Онанг — Нижний, и сам чум, символизировавший Среднюю землю, — Дулу; остальное от мастерства Сынкоик зависит. А в ней-то уж он уверен.

С отрешенным видом Сынкоик вошла в чум, разве-

ла там огонь, и некоторое время оттуда слышался невнятный шепот и пение. С наступлением сумерек Сыркоик вышла из чума, что-то сказала Дапамкэю и удалилась в стойбище. В нымгандяк потянулись люди. Приходили и степенно садились по кругу. Амарча с Воло одними из первых проскочили вслед за дядей Дапамкэем и замерли, как мыши, у самых оснований жердей. Пришел все еще не протрезвевший Ганча, за ним, крихтя и опираясь на посох, влезла мать. Дапамкэй показал им рукой на малу — почетное место, напротив двери.

— Не будет ли ветра? — спросила старуха, устрояясь поудобнее. На ней был праздничный зипун из черного сукна, украшенный орнаментом и блестящими медными пуговицами. Длинные седые волосы спрятаны под цветастым платком, повязанным низко, по самые глаза.

— Зайцу и гагаре ветер не помеха, — загадочно ответил ей Дапамкэй.

На груди его красовался холмэ¹ из дорогого синего материала, опушенный шерстью кабарги. Волосы были прибраны — уложены на затылке в пучок, отчего Дапамкэй сильно походил на рисунчатого китайского божка.

В косы некоторых женщин были вплетены связки старинных серебряных монет, да и мужчины украсили себя, как могли. Вид у всех был необычный, таинственный.

Чтобы лишний раз не попадаться на глаза взрослым, Амарча с Воло укрылись зипуном и лежали не шелохнувшись, стараясь даже потише дышать. Сейчас начнется камланье. Тетя Сыркоик будет говорить со своими Духами, и они ей укажут, где надо искать деньги Ганчи.

Неужели у него их украли? У эвенков ведь не было никогда воровства.

Среди тех денег была и доля бабушки Эки с Амарчой. Советская власть помогала семьям погибших на фронте. И вот деньги исчезли. Правда, кое-кто предполагал, что новый председатель Совета вместе с Ганчой пропили те денежки. Частенько они бывали навеселе. Ходили, махали руками. Ганча, как всегда, пытался

¹ Холмэ — нагрудник.

командовать. Но кто знает, может, и потерял их Ганча, пьяный куда-нибудь положил и забыл... Вон, у Мады тоже память стала дыривой, без ружья на охоту ходит...

Ждали шаманку.

Далеко за озером, в высоком сосновом бору, есть лабазы, в которых хранятся разные старинные вещи. Амарча, Воло и другие ребята ходили как-то туда за ягодами и видели в одном лабазе шаманский наряд.

Старики говорили, что главное для шамана — иметь свой бубен. У бубна есть глаза и уши, он видит и слышит, помогает шаману и его Духам передвигаться в Нижних и Верхних мирах, поэтому на его наружной стороне изображена вся Вселенная — Солнце, Луна, Земля и Звезды. По краям бубна — зубцы, это шаманские земли, а весь бубен подобен голове человека. Верхние и нижние части его так и зовутся: хорон — макушка, дев — подбородок.

Не менее важна гиривун — кололушка. Делают ее самые умелые мастера. Для кололушки нужна кость ушедшего со Срединной земли громадного, как гора, зверя — хэли, мамонта; либо листовенница, расщепленная молнией. Широкая нижняя часть кололушки обтягивается медвежьей шкурой и оленьей роговицей. Тыльная часть остается открытой. На другом конце кололушки, изображены головы человека и гагары, помощников шамана в кочевьях по Нижнему миру.

Только после бубна шаман получает от рода шаманский костюм, украшенный разными символами: фигурками птиц и зверей, Духов предков... Нагрудник расшит бисером и волосом дикого оленя, разрисован черной краской.

О, не каждый смертный человек может стать шаманом! Только избранные Духов. Мы, люди, способны лишь ползать по нашей грешной земле!..

Вошла Сынкоик, и все разговоры в чуме умолкли. На ее костюме, на уровне лопаток, прикреплена была металлическая пластина с изображением птиц. Это редкий знак. Сынкоик — сильная шаманка, заслужила право носить его.

Сынкоик села рядом с мужем, откинула с головы черный платок и стала широко зевать — это она глотала Ховонов и Этанов — души предков и души рыб, птиц и зверей, ее помощников.

Амарча не узнал ее лица. В сумрачном свете чума отчетливо виднелись только глаза и рот. Не покрасила ли тетя Сыркоик свое лицо отваром чинэ — нароста на деревьях? Или, может, углем, смешанным с серой? Отчего оно стало похожим на маску?

Сделалось страшно. Зарылся лицом в зипун и Во-ло, тоже испугался. Внезапно, подпрыгнув и звякнув подвесками, Сыркоик глухо, незнакомым голосом что-то крикнула, и Дапамкэй подал ей нагретый над костром бубен.

Камланье началось.

Гулкой, громкой дробью зарокотал бубен. Сыркоик подпрыгнула, всколыхнула пластину, снова ударила в бубен и начала что-то шептать.

Должно быть, эти первые звуки бубна напугали округу. Не стало слышно ни птиц, ни лая собак, ни щелканья оленьих ног. Замерли у костра парни и девушки. Сегодня у них хоровода не будет.

— Бо! — закричала тетя Сыркоик.

— Бо! — подхватили сидящие в чуме люди.

Сыркоик нагнулась над притухшим костром, послышался ее глухой, пронзающий душу возглас:

— Дэ... ги... лим!..

Мурашки поползли по спине, сжались люди, застыли. Сыркоик начинала скликать своих Духов-помощников, которые могли бы слетать, сползать, сплавать в Нижнюю землю и узнать у предков, кому и зачем понадобились деньги Ганчи.

Широко раскрыв рот, она снова, скрипя зубами, глотала Ховонов.

Сыркоик махнула рукой, и костер тут же вспыхнул, словно кто-то подбросил пороху. Вскрикнули, шарахнулись в сторону люди. Дапамкэй, помощник жены, бросил в огонь пахучих трав, запахло багульником, жимолостью.

Амарча вдруг чихнул, и тут Сыркоик замерла, буд-то наткнулась на какое препятствие, застыла, полусогнувшись. У Амарчи сердце ушло в пятки: не из-за него ли прервалось камлание?

Но тетя Сыркоик выпрямилась и, подражая гортанному крику ворона и клекоту орла, приподняв плечи, затряслась всем телом. Зазвенели медные пластины, как гугары на шеях оленей, заговорили подвески. Шаманка что-то выкрикивала, люди, раскачиваясь из сто-

роны в сторону, повторяли за ней ее возгласы. Она снова и снова прыгала, колотила в бубен, входя в неистовство. Только так можно найти общий язык с Духами. Откуда у нее бралась сила? Ведь еще днем она стонала, прижимая к сердцу руки, жаловалась.

Сынкоик трясла головой так, что волосы ее колыхались, как на ветру; изо рта показалась пена. Шаманка неожиданно остановилась, к чему-то прислушиваясь, и потом снова, придя в ярость, стала выгонять присутствующих из чума. Подчиняясь ее воле, мужчины, женщины поползли по суковатым лиственницам, изображавшим Делбонов — идолов, поползли по изображениям рыб и зверей, вырезанным из дерева.

На улице люди не посмели проронить ни слова. Все были словно в каком-то оцепенении.

Амарча, сжавшись в комочек, дрожал, как зайчонок, а Воло, видно умаявшись и тоже натерпевшись страху, спокойно спал под зипуном.

Изгнание было недолгим: без людей шаманке не обойтись. По знаку Дапамкэя все, обдирая колени, поползли снова в чум.

Остывший бубен валялся возле костра, а сама шаманка лежала, уткнувшись лицом в землю, слабым голосом бормоча непонятные слова.

Бормотание и стоны все продолжались. Ожидание становилось мучительным. Все были прикованы к своим местам, не шевелились, чутко прислушиваясь к шепоту Сынкоик. Огонь погас.

Но вот шепот шаманки стал более внятным. Люди уловили — возвращается Этан, которого Сынкоик долго искала; она требует — разжечь огонь, чтобы Дух видел дорогу.

Нагревается бубен. Сынкоик сидя начинает шаманскую песню: Сначала она повторяет отдельные фразы, и наконец можно уловить мелодию. Ее несмело подхватывают, а Сынкоик, поднявшись на колени, что-то кричит Дапамкэю и бросает бубен. Дапамкэй ловко ловит его и, став у входного отверстия чума, через который недавно вползали люди, начинает изображать традиционный Шаманский марш. В этом искусстве он был мастером.

Ритм марша снова привел шаманку в экстаз. Началась дикая пляска. Вскочили на ноги двое мужчин и ловко набросили на плечи Сынкоик «нектар» — «цепь»

из ремня. Продели его в спинное кольцо шаманского костюма, концы привязали к толстым жердинам чума. Шаманка неистовствовала. Чтобы она не разбилась, мужчины придерживали ее за этот «нектар» и тоже приплясывали. Дапамкэй колотил в бубен.

Пляшущие попадали ногами в костер, угли и головешки разлетались в разные стороны. Женщины гасили их, чтобы не загорелся чум.

И вдруг среди этого сумасшедшего крика, грохота бубна, яростной пляски отчетливо послышался крик гагары:

— Кы...ых!.. Кы...ых!..

Откуда гагара? Ведь Сынкоик в это время сама что-то выкрикивала?

Ошалели люди.

Дапамкэй извлек откуда-то чучело птицы. Сынкоик схватила его, с пеной у рта бросилась наземь, придавила гагару. Потом приподнялась и передала чучело Ганче, приказала посадить на лиственницу возле чума.

У Амарчи все окаменело внутри. Он не узнавал свою тетю, боялся ее. Он молил Духов, чтобы камлание поскорее закончилось.

Сынкоик заговорила шепотом:

— Гагара есть хочет, дайте ей углей. Она любит угли, которые делает огонь.

Буркаик быстро налила из чайника чашечку воды, набросала туда горячих углей, и Сынкоик с жадностью выпила, хрумкая углями.

Потом шаманка презрительно выплюнула выпитую воду, выругалась в адрес гагары, вскочила и опять пришла в бешенство. Она еще раз выгнала всех из чума, снова ползали люди по стволам лиственниц, изображавшим зверей и птиц, снова грохотал бубен. Снова во все стороны летели угли, зола. Женщины и мужчины хватали дымящиеся головни и выбрасывали во входное отверстие. Огонь исчез, образовалась площадка. Вздывая горячую золу, задыхаясь, Сынкоик понеслась по кругу — она за кем-то гналась, продолжая свое бормотание. Ремни мешали ей двигаться, но она упорно кого-то ловила. В руках Дапамкэя снова оказался бубен — раздались глухие удары. Сынкоик подпрыгнула и, раскинув руки, быстро закружилась в обратную сторону. Затрещали жерди, зашатался чум. Испуганные люди подперли жерди руками, чтобы, чего

доброе, не обвалились. Точно вихрь, носилась шаманка, виден был один ее силуэт. Сынкоик — птица!..

Неистовый грохот сопровождал эту жуткую кутерьму. Обо всем, казалось, забыли люди, тоже стали как ненормальные, ужас застыл на их лицах. О, Хэвэки! О, Добрый дух!..

Сынкоик, повиснув на ремнях, коснулась ногами земли. Что-то забормотала. Какая-то женщина уловила, чего хочет шаманка, и начала прыскать ей в лицо водою. Шаманка обмякла, но по-прежнему висела, раскачиваясь.

— Уе! Скребок! — крикнул дядя Дапамкэй.

Пока бегали за скребком, тетя Сынкоик, как неживая, висела на ремнях, раскачиваясь из стороны в сторону. Притащили скребницу для выделки шкур, и Дапамкэй стал легонько «подпиливать» ей ноги в сгибах коленей. Сынкоик, оказывается, превратилась в дерево и потому не может согнуть колени, не может сесть на землю, которую потеряла впотьмах. Скребница помогла. Шаманка села, держась за ремни.

— Пуртая! Нож! — чуть слышно прошептала она.

Двое мужчин выхватили свои ножи и поставили их остриями вверх — для укрощения разбушевавшихся Духов, Ховонов.

Шаманка потребовала еще один нож. Вытянула правую руку, и дядя Дапамкэй вложил ей нольгот — деревянный нож; она с силой вонзила острие в живот и, охнув, повалилась лицом в пепел. Из рта пошла кровь.

В чуме все стихло.

Амарча не выдержал. Громко закричал, заплакал. Проснулся Воло и, не понимая, в чем дело, что происходит, где находится, тоже заревел в голос. Очнувшись, люди сердито зашикали на детей, а дядя Дапамкэй, ругаясь, вытолкал их из чума. Рыдая, кинулись они к стойбищу. Там, возле костра, все еще сидели парни и девушки. Ультарик, сестра Ганчи, пожалела ребят, вытерла слезы и посадила их рядом с собой.

До восхода солнца из шаманского чума раздавались громкие звуки бубна, пение, стоны, бормотание. Потом послышался крик гагары — кричал дядя Дапамкэй, давая знать о приближении утра.

Камланье закончилось.

Наступила тишина. И стало слышно, как где-то ря-

дом, на дереве залепетала птичка: «Чив-чив-чив!» За-молчала, словно прислушиваясь к чему-то, снова за-пела. Ей отвечала другая, третья... Хоркая, из леса бе-жала олениха — она разыскивала своего теленка...

Амарча облегченно вздохнул, потянулся и... пошел спать.

Проснулся он после полудня, когда солнце уже за-глянуло в чум. Хотел испугаться, но в чуме как ни в чем не бывало сидели дядя Дапамкэй, тетя Сынкоик, еще двое мужчин и мирно беседовали.

— Ну, герой, вставай, пей чай, — весело сказал дя-дя Дапамкэй.

Тетя чуть улыбнулась. Поставила маленький столик и налила чаю. Простая, обыкновенная женщина...

Потом люди изумлялись мудрому совету Духов, велевших Ганче собираться в тайгу на охоту. Духи ви-дели в нашей тайге белого лося и черного оленя. Ган-ча должен убить одного из них, и тогда деньги най-дутся...

Хэ! Нелегкую задачу задали Духи предков. При-дется Ганче побегать по лесу, ища оленя и лося. Но задача вполне разрешима. Старики помнят, что были случаи, когда люди убивали белых лосей и черных оле-ней и достигали цели...

Но не пришлось Ганче идти на охоту. Приехал уполномоченный из района. Долго разбирался с день-гами, потом снял с должности Кирэктэ и Ганчу и увез их с собою в райцентр. Говорили — там темный дом, «чурма», которой Кирэктэ так пугал суриндинцев.

А как приехал «полномоченый», гости сразу же раздели свои чумы и от греха подальше откочевали назад на Куту, увозя с собою двух вдов и Ультарик, высватанную Бирагирами.

СКАЗКИ ДЕДУШКИ БАЛИ

Амарча вышел из чума и чуть не попятился. Все деревья, разукрашенные инеем, казалось, выросли и шагнули вперед, отчего чумы стали еще приземистее. Было сыро и холодно. Мальчишка поежился,

Скучно стало в стойбище после того, как ребяташки ушли в интернат на факторию. До фактории километра два, там контора артели, школа, там веселее. Суричок и Буркаик только по воскресеньям бывают дома, но зимой, в морозы, их и на выходной то не отпускают, боятся, что замерзнут в дороге.

В стойбище уже все проснулись. Но гомона женщины не слышно — видно, ушли на факторию: кто в контору, кто в магазинчик, кто пилить дрова.

Около чума дедушки Бали Амарча увидел Палету. «Опять убежал, чтобы не сидеть с сестренкой», — подумал он, но окликать не стал. Палета пытался сесть верхом на Амикана, как на ездового оленя, но ему это не удавалось — собака вертелась, виляла своим лохматым хвостом, заглядывала маленькому хозяину в лицо: не угости ли тот чем-нибудь вкусным...

Выбежали из дома Костака и Воло. Сейчас должен появиться на тропинке и Митька Тириков.

По утрам Амарча с Воло таскают сумки Костаки и Митьки в школу, а в обед должны встречать их, но часов ни у кого нет, днем встреча не всегда получается. Ну, а утром — это как бы закон, да и нравится малышам таскать сумки, пусть люди думают, что они тоже школьники.

Выскочил из лесу Митька:

— Ну, мой учуг, накричался вчера?

Слышал, значит.

— Я провожал птиц, чтобы они не забыли обратную дорогу, чтобы принесли нам тепло и солнце.

— Хэ, они и без твоего крика вернутся, — усмехнулся Митька.

— А их могут дорогой убить, — возразил Костака.

— Аха, — поддакнул брату Воло.

— Бабушка говорит, что соль им крылья укрепляет и силы придает. — Амарча смотрит на Митьку.

— Ну и пускай! Может, и вправду котелок у твоей бабушки варит! Запрягайся давай, некогда мне рассоливать, опоздаю еще!

Митька по привычке молчал языком, но в общем-то он побаивался бабушку Эки. И она с интересом присматривалась к русским ребятам, бойким и совсем не стеснительным. Особенно ей по душе были Костака и Воло. «Краснеть умеют, лица у них есть», — говори-

ла бабушка Эки, а про Митьку: «Хвастун и варнак, весь в отца».

В душе бабушка Эки держала надежду, что пострется Амарча рядом с русскими ребятами, глядишь, да и начнет понимать ихнюю речь. Но получилось то, чего она не ожидала,— Костак и Воло, а о Митьке и речи не было, быстро заговорили на нашем языке, словно позабыв о родном. Дома их ругала тетя Наташа.

— Вы о чем это балабоните «шуроколь, амаколь»? Совсем тунгусятами стали? Дома-то хоть можете нормально разговаривать, а?

— Ты неправильно говоришь, мама,— начинал поучать ее Воло,— надо говорить: «Сурукэл, эмэкэл...»

— Сиди, учитель выискался!— Мать в шутку давала ему затрещину.

Правда, над их выговором эвенкийских слов смеялись, но смеялись все же с одобрением. Дядюшка Черончин, вернувшись с войны и впервые услыхав их разговор, просто в восторг пришел:

— Вот чертенята, а? Совсем как эвенки! Не подумаешь даже, а? И чукином¹ лакомятся, не брезгают. Вот чертенята!..

И снова закатывался, хохотал от души.

Хороший человек Черончин, вообще хорошие люди, кто так смеяться умеет.

Несут сумки Амарча и Воло по тропинке вдоль берега речки, а сами нет-нет да и оглядываются по сторонам, на чумы — не видят ли взрослые. Заметят они, особенно пожилые женщины, вот разговоров-то будет. Помнится, в первый раз, когда мать Ганчи увидела их, несущих сумки, она приостановилась, подняла руку к глазам, чтобы лучше разглядеть, а сама шибко удивилась: «Э, Ганча, ладно ли мои глаза видят? Никак Амарча да его белоголовый дружок в школу пошли? Неужто они уже школьники? Вроде бы еще вчера Амарча на четвереньках ползал, не мог до порога добратся, а нынче, смотри-ка, в школу пошел! Ну, дай ему бог научиться понимать мышинные следы на бумаге, грамотные люди сейчас ой как нужны!»

¹ Чукии — полусырое мясо с кровью.

Может, еще кто мог бы такошибиться, но все дело портил Митька.

— Ну, учуги наши быстроногие и быстрокрылые! Что-то ног ваших не видно, — командовал он. — Шевелитесь! Кто вперед добежит вон до того дерева?!

Из-за этого не хотелось Амарче таскать его сумку. Да что поделаешь... Конечно, лучше бы быть учугом Костаки, но его провожает брат, Воло. Эх, если б и у Амарчи был старший брат...

На повороте реки, откуда была видна фактория, стояла старая толстая лиственница — середина пути от стойбища. Потом Митька давал новые задания: кто вперед добежит до чума Мады, а там и до школы. Возле школы он срывал свою сумку с плеча Амарчи, приказывал:

— Смотри, в обед не опаздывай!

...От школы ребятишки повернули к магазину. Магазин, конечно, закрыт. Товары в нем редко бывают, а еды... никто и не помнит, чтобы там продавалась еда. До войны, говорят, была, правда, мука, сахар, конфеты... А сейчас ничего нет...

У магазина высокое крыльцо, на нем любят сидеть курильщики. Амарча и Воло собирают там окурки для дедушки Балн.

Пошарив глазами вокруг крыльца и не найдя ничего путного, они припустили к конторе артели. Там тоже перед распиловкой дров каждое утро собирались мужики и иной раз оставляли хорошие «бычки». Самокрутки курили в основном молодые, а женщины и старики предпочитали трубки.

Курил раньше и Амарча. В три года приохотился к бабушкиной «соске», уж потом ему сделали свою небольшую трубку, которую бабушка пришила к рубашонке, чтобы не затерялась. Первое время она немного мешала бегать, но потом он привык, и, когда хотелось курить, не нужно было искать или просить у взрослых, — взял в зубы свою трубку и тяни.

Школьные учителя сильно ругались, завидев малыша с трубкой:

— Что вы делаете? Разве можно детям давать эту гадость? Мы в школе боремся, разъясняем, как это вредно, а вы с пеленок их приучаете!

— Ребенок просит, как не дасть? — отвечали эвенки. — Вера у нас такая: нельзя человеку отказывать...

— Как же так?— удивлялись учителя.— Он ведь ребенок, не понимает...

— Ээ, не говори, язык ребенка сладкое и горькое различать умеет... Наши дети все понимают...

И «веселящую воду», если рука ребенка тянулась к кружке, тоже давали. Коли позволяют Духи, почему не дать?

Курить Амарчу отучила тетя Наташа. Пришла она как-то в чум к бабушке Эки, принесла съедобную «мазь» — горчицу. Эвенки ее не едят, плюются, а русским почему-то нравится. Возьмешь эту мазь на язык, хуже крапивы начинает жечь. А если вдруг ненароком проглотить — глаза на лоб вылезут, легче каленый уголь в рот взять, чем попробовать эту горчицу.

Намажь маленько «соску-то», — показала тетя Наташа на трубку Амарчи. — Разочек обожжется, не захочет больше... Нельзя маленьким курить, а пить — тем более. Убьет его это.

— Как? — удивилась бабушка Эки. — У нас исстари так ведется... Эвенки все курят...

— Разрешать будешь — считай, сама внука убьешь, — твердо повторила тетя Наташа. Бабушка Эки выслушала ее, поверила, что курение вредно, или нет, — неизвестно, однако трубку горчицей намазала. Бережного, как говорится, бог бережет. А Амарча у бабушки Эки был единственной надеждой и опорой в жизни...

Хныкал, плевался Амарча, оторвал от рубашки трубку.

— Сладко? — спрашивала тетя Наташа.

Амарча еще пуще ревел. Но потом привык, не надо теперь никакой «соски»...

Бегают глаза ребятишек. Окурки попадаются измятые, растоптанные, уже рассыпанные. И вдруг у самого крыльца — лесенки из трех ступенек — почти одновременно они увидели целую папиросину, как Воло порусски говорит, «базарскую». Ее, видно, бросил радист Инешин, он такие курит. Если бывал «бычок» из газеты — значит, оставил его продавец Софьянников, никто, кроме него, не выписывает «Правды Севера», остальные крутят из серой оберточной бумаги.

Амарча с Воло бросились к папиросине:

— «Казбек»! Конь с седоком!..

— Я первый увидел!

— Аха!.. Я первый!

Запыхтели, стараясь ухватить добычу. Амарча уже было дотянулся до нее, но Воло, оттолкнув его, наступил на папиросину ногой. У Амарчи в руке оказался один мундштук.

— Ты что? Пусти!

— А ты что? Сам первый начал!..

— Эй, мелочь пузатая, что делите? — к ним подошел Ванчо Черончин, сын председателя артели. — Рубль нашли? Это я потерял!..

Ребяташки попятились. Ванчо уже взрослый парень. Он по несколько лет сидел в одном классе, из третьего его выгнали как переростка еще до того, как отец с фронта вернулся. В интернате разбаловался, говорили про него люди, позорит доброе имя отца. Теперь Ванчо вроде бы пилит дрова для конторы, но, похоже, больше болтается без дела. Его надо опасаться, он может отнять окурки. У него прозвище — Луча, Русский значит. Сам Ванчо, по дурасти, гордится этим: мол, имя у него — Ванька — русское, вот от него и пошло прозвище. Он не любит только Митьку Тирикова, который при встрече всегда его дразнит: «Эй, русский, глаза узкие, нос плюский! Ты совсем-совсем как русский!» Ванчо гоняется за ним, грозя кулаком: «Поймаю, мордам дам!» А Митька опять кривляется, передразнивая старичка Маду и издеваясь над произношением Ванчо: «Ты моя мордам знаш?»

Амарча бросил завоеванный обрывок папиросины. А Ванчо, поглядев на Воло, сказал:

— Скажу дядюшке Мирону, что куришь. Он тебе задницу-то надерет!

— Говори. — Воло двинулся вслед за Амарчой.

Поискав в траве, на вытоптаных тропинках и зажав в руках мерзлые «бычки», они вернулись в стойбище.

...В чуме сидел дедушка Бали, рядом, привязанная обрывком ремня за жердину, ползала чумазая внучка, Тымани. Ее привязывают, чтобы не заползла в костер. Мать ее, Пэргичок, ушла на фабрику к коровам, а Палета убежал, чтобы не возиться с сестренкой. Он всегда так делает. Дедушка Бали иной раз кличет, кличет его, а он затаится где-нибудь рядом и не отзывается.

Дедушка Бали повернулся лицом к ребятам:

— Куда бегали, мужички? Вы так топали, что я уж

подумал, не табуң ли оленей несется на мой чум,— пошутил он. По шагам дедушка узнавал всех.— Воло, что делает твой отец? Уши мне говорят, он что-то рубит?

— Да, хлев хочет делать.

— Хэ, значит, корову решил завести. Доброе дело, доброе, только с травой возни много...

— Ээ,— по-эвенкийски поддакнул, соглашаясь с ним, Воло и затараторил:— Амака, мы курить тебе принесли, а ты нам сказку расскажи.

— Хэ! Молодцы, что курить принесли. Давно моя трубка пустая. Сосу, сосу, а в ней ничего нет,— обрадовался дедушка.— Ай да друзья, что бы я без вас делал?

Но это, конечно, дедушка так, к слову сказал. С ним всем интересно, без дела он никогда не сидит. Глаз нет, а руками больше всех делает. Всю женскую работу освоил: мнет оленьи шкуры, камус выделяет, за очагом следит... Глаза бы ему— и шил бы лучше всех. Что бы без него Пэргичок делала, вот вопрос? И Тымани он нянчит...

Ребята нашли его трубку, набили табаком:

— Тяни!

Дедушка зачмокал, как ребенок, задымил.

— Хэ, легче на душе стало... Теперь, мужички, подкормите костер, а то совсем не греет.

Подбросили дров, затащили на шкуру Тымани. Она захныкала.

— Чивире! Тихо! — погрозил ей Воло, потом пообещал:— Я сахар тебе принесу.

Девочка поняла, ручонкой размазала по лицу слезы, затихла.

— Какую сказку хотите послушать, мужички? — Бали обратил к ребятам темное, все испещренное морщинами лицо.

— Отчего у глухарей глаза красные,— опередил Воло Амарча.

— Экэ, разве я не рассказывал? —вроде бы удивился дедушка.

— Нет, нет,— подтвердили друзья.

— Хэ, значит, верно. Пора вам ее рассказать. Слышали, как ночью плакали птицы?... Жалко наших небесных оленей. У них сердца как у людей. А глухари, верно, остаются. Слушайте, попробую вспомнить...

Когда Харги — Злой Дух, напустил на людей разные болезни, голод, не обошел, он «вниманием» и других обитателей тайги. Им тоже не сладко стало. Харги сделал так, чтобы на земле большую часть года стояли холода, завывала вьюга и лежал снег. Все живое стало искать выход из этого положения. Зайцы решили одеваться в теплые шубы и с приходом зимы менять цвет, медведи с бурундучками приспособились в это время спать в берлогах и норах, белки научились строить гнезда в дуплах деревьев. Кто как умел и кто как мог, стали спасаться. Лишь одни птицы не знали, как им от зимы укрыться. Решили собраться на свой суглан.

И вот в назначенный день на полянку слетелись все пернатые обитатели тайги. Свист, гогот, писк, кряканье раздавались по всему лесу...

Дедушка Бали вынул изо рта трубку и передразнил птиц.

— Похоже! — удивленно ахнули ребята.

— Но согласия между птицами не было, — продолжал дедушка Бали. — «Я думаю, нам надо остаться в тайге! Пищу и зимой найдем, а морозы не так уж страшны!» — Каркающим голосом Бали передразнил ворону, а потом, изменив голос, стал изображать пичужку: — «Нет, нет, нет!.. Нужно улететь вслед за солнцем в теплые края. Только так мы сможем обмануть зиму. А здесь мы превратимся в ледышки!»

Беда, коль ум надвое пошел. Каждый тянет в свою сторону. Одни хотели лететь в теплые края, другие — остаться. Ни к чему не пришли, на том и порешили: кто хочет — пусть летит, а кто не хочет — оставайтесь!

Утки, гуси собрались в стаи, покружились над родными озерами и болотами и с прощальными криками, с плачем подались в теплые края. Прощай, тайга! Прощайте, родимые гнезда!

Рябчики нырнули в темные леса, куропатки улетели в открытые тундры, одним словом, кто куда хотел, туда и ушел. Когда встали на крыло стаи лебедей и журавлей и послышался с вышины их плач, не выдержало сердце глухаря и он поднялся в воздух — чего одному оставаться; погнался он за небесными оленями. Долго ли, коротко ли летел, но помаленьку уставать начал, крылья у него оказались слабыми, не способен он на долгие перелеты. Отставать стал, а потом и вовсе из сил выбился, горько заплакал и с высоты рухнул на

землю. На счастье, угадал он в большой сугроб. И это его спасло. «Замерзать меня здесь оставили»,— подумал он и еще пуще залился слезами. Плакал, плакал и не заметил, как уснул. Проснулся— а в сугробе-то тепло, надышал он там. «Ээ,— обрадовался глухарь,— так, пожалуй, можно и зиму обманывать!»

С той поры зимою так и стал делать: с дерева ли, с вышины ли падает в снег, зарывается и спит. А глаза от слез так и остались красными и припухшими. Вот такая сказка про глухаря.

Дедушка замолчал, задумался, но руки его продолжали работать— мять камус.

— А отчего плачут лебеди и журавли?— поднял голову Амарча.

— Да, отчего?— поддержал его Воло.

— Хэ,— снова оживился дедушка Бали.— Это очень красивые сказки... Вот летят теперь наши родимые небесные олени и не ведают, что ими интересуются два мужичка... Чтобы вы знали, расскажу.— Бали прислушался.— Что это Тымани затихла? Уснула?

— Спит. Слушала, слушала да и уснула.

— Ну слава богу, пусть поспит. Ей сон слаще сказки, укройте ее чем-нибудь. Зипун где-то был...

Ребята перевернули Тымани на бок и набросили на нее зипун. Девочка во сне всхлипнула.

— Бо...о! Бо...о...о!— побаюкал ее Амарча.

Она опять затихла.

Дедушка Бали вынул изо рта потухшую трубку и положил себе под ногу, чтобы не искать потом, и, поудобнее усевшись, снова проворно задвигал руками— нельзя камусу остывать, хуже мяться-будет.

— Так вот, мужички,— повеселевшим голосом начал Бали.— Лебеди, говорят, в далекие времена были людьми. Жили на земле юноша и девушка. Юношу звали Багдамакан, а девушку— Удырик. Телом, сказывают, были они— как молодые деревца, стройные, а лицом— как солнышки, ясные! Дружно жили, любили друг друга. Запоет песню Багдамакан, Удырик подтягивает, вторит ему, и все вокруг замирает, затаив дыхание, слушает их.

Услыхал ту песню Злой Дух, позавидовал. И решил: «Не звучать больше песне, не бывасть вашей любви!» Кто знает, может, и это во власти Злого Духа... Он был всемоущ, превратил Багдамакана и Удырик в

птиц, белых лебедей. Что делать? Поплакали, заплакали они и успокоились. Свили себе гнездо, весной отложили яиц и вывели птенцов. И ожила в их сердцах песня. Любовь-то не так просто рубить! И опять над озером, над тайгою зазвучала их любовная песня. Снова все живое замирало на земле и слушало их. Долетела она и до ушей Злого Духа. Почернел он от злости, схватил свой лук и стрелю пронзил сердце лебедя — Багдамакана. Хэ, горе-то, горе!.. Заплакала Удырик! Слезами залилась, места себе найти не может. Кружилась над озером, все звала Багдамакана подняться, а он лежал, покачивался на волнах и не отзывался. А когда птицы собрались улетать в теплые края, Удырик не выдержала и с поднебесья бросилась грудью на скалу возле озера... Осиротели их дети, горько-горько заплакали. «О Небо! О Добрый Дух! — молили они. — Дай нам силы долететь до неведомых краев, помоги сохранить в наших сердцах любовь родителей! Научи нас верности друг другу!»

И Добрый Дух дал им силы! — Лицо дедушки посветлело. — Понесли лебеди песню любви своих родителей в дальние края, навсегда сохранив их верность...

Бали помолчал, поглядел на затаивших дыхание ребяташек, спросил:

— Ну что? Дальше рассказывать, про журавлей?

— Рассказывай, дедушка, — в один голос взмолились Воло и Амарча.

— Ну ладно... Слушайте... Журавли самыми последними поднимаются в небо, уже снег лежит порою, а они все не торопятся улетать из родимых мест, и самыми первыми возвращаются. Очень сильно они тоскуют в чужих краях. Как только солнышко отточит свои лучи, как только начинают они прожигать снег и лед — все, журавли уже спешат домой. Они сильные птицы, как наши ездовые олени: сажают себе на спины маленьких пташек и плывут в небесах. Красиво их кочевье... Сердца у людей замирают, когда доносятся с вышины их тоскливые крики. После того первого птичьего суглана вернулись они домой, а кругом белым-бело, снег еще лежит. Не могут узнать своих озер и болот. Вроде бы они — и не они. Закралась в сердца мысли: наша ли это родина? Закружились, закричали, бедняги, не узнают своих мест. И заплакали, как осенью, да-

же пуще — ведь потеряли-то самое дорогое на свете, родные гнезда...

Вот такие сказки про наших священных птиц, мужички. Сказки для ушей взрослых, ну, надеюсь, и вы поймете, дойдет до вас суть сказанного. С тех времен так и повелось: эвенки никогда не стреляют в лебедей и журавлей. Грех большой, стрелять в любовь и в родину. Поняли?..

Присмирели, затихли «мужички». Что тут говорить — понятные, добрые сказки у дедушки Бали.

В ЗИМНИЕ ВЕЧЕРА

Белый пушистый снег выпал ночью, и сразу наступила зима. От чума к чуму протоптались тропинки, и одна длинной змейкой протянулась к лесу.

Снег зарядил на несколько дней, сыпал и сыпал частыми крупными хлопьями, но потом перестал — надоело, видать. Да и куда валить-то без меры? И так все деревья мохнатыми стали, пеньки нахлобучили шапки, чумы словно присели... Снегу-то, наверное, все равно, он может идти вечно, а каково людям? Поплывет в глубоком снегу собака — не захочет охотиться, оленю станет трудно копытить ягель, значит, и людям плохо будет. Но на то и ум у людей, говорит бабушка Эки, чтобы суметь и в такие снега да морозы выжить на нашей земле. Да и потом, снег ведь не всегда — плохо, иногда он и благодать. Взглянешь на следы зверька на снегу, и все ясно становится, куда и зачем он шел, где спрятался. И самого Амарчу, по словам бабушки, помог найти снег...

Бабушка говорит, Амарчу нашли в лесу под колодиной. Пошла она в лес за дровами и увидела следы на снегу — вроде мальчишка босиком бегал. Пошагала она по следам и услышала детский плач. Заглянула под старую обгорелую колодину — а там мальчик. Сидит, свернувшись в клубочек.

— Удивляюсь, — говорила она, — как ты не замерз. Время-то уже трескучее было, все мужчины на охоту ушли. Принесла я тебя в чум и давай отогревать.

— А если бы не услышала, я замерз бы? — испуганно спрашивал Амарча.

— Наверно, замерз бы, — спокойно отвечала бабушка. Но такой ответ не устраивал Амарчу, и он начи-

нал тормошить ее, заглядывая в глаза: не шутит ли? Бабушка Эки некоторое время выдерживала серьезность, потом, сжалившись, опускала свою руку ему на голову и успокаивала:

— Я тебя, сынок, обязательно нашла бы. Такая судьба у меня.

На сердце у Амарчи сразу становилось легче, лицо светлело, в глазах — радость.

Вспоминались страшные картины: замерзший парень Сергунчэ Анкоуль и девочка Собирик с ледяными слезками на щеках... Это в сказке про маленьких человечков не страшно, они отогревались весенними солнечными лучами и шумели потом кипунами-речками. А по-настоящему замерзших людей уже ничем нельзя отогреть.

Прошлой зимой вернулся с охоты Сергунчэ Анкоуль, напился «веселящей воды», ноги отказались идти, упал он возле своего чума и замерз. Нашли его — он весь был закованный и черный, как обугленный... А мать девочки Собирик до сих пор не в себе, умом тронулась. Они белковали тогда в верховьях Орокана, там-то и случилась беда. Отец шел стороной, промышляя белку, а мать вела аргиш по санной дороге. Зыбку с маленькой Собирик навьючила на последнего оленя, а тот возьми да отвяжись, уйди в лес, а она, растяпа, и не заметила... Только на второй день нашли того оленя. Маленькая Собирик была уже окаменевшей, даже слезинки на щеках стали ледышками. Страшно! Мать ума лишилась, все зовет девочку, просит у снега, у тайги — отдайте Собирик, зачем ее взяли?..

Амарча, глядя на огонь, вспомнил летние разговоры про имена и задумался. «Наверное и вправду я опоздал родиться, — думал он. — О чем ни спросишь, все, оказывается, уже было». В мечтах он иногда видел себя ловким, сильным богатырем Бэркэнгом или Ховоко, умеющим ловить на лету стрелы противников, прошивать насквозь пятерых быков, поставленных вплотную, ловко, не хуже белки взбирающимся на деревья; но те времена давно прошли, они теперь только в преданиях живы да в памяти стариков.

Иногда хотелось быть Ивулем. Он вроде и дурачок, но всегда в конце сказки оказывался самым умным и самым хитрым.

Но то в сказке. А надо бы в жизни стать кем-то на-

стоящим, все умеющим, ловким и сильным. Тогда Амарча сделал бы все, что захотел. Добыл бы много-много белок и соболей, лосей и диких оленей, во всех чумах была бы еда, и все, говорили бы: «Амарча вырос настоящим кормильцем! Есть что поколупать в зубах! Не скучно нашим животам! Ай да Амарча!..» Так говорили бы люди. И еще хорошо было бы вернуть дедушке Бали глаза, оживить всех добрых людей, ушедших в Нижний мир: отца Кинкэ, мать... Вот жизнь была бы! Вечное лето стояло бы, солнце, тепло, вернулись бы птицы... Здорово было бы...

Почему о хорошей жизни надо только мечтать? Кто такие фашисты и чего они напали на нас? Оленей у них не было, что ли, или своих женщин им не хватало?

Раньше, в давние времена, Хэйкогиры тоже воевали с пришельцами с Ангары. Тоже горе и слезы в стойбищах были. Столько, говорят, слез пролито, что из них получилась младшая сестра Тунгусок — Ангара, река из слез. Чистые-чистые воды, все камешки можно пересчитать на дне...

— Ты где? Не слышишь, оглох, что ли?

Оказывается, бабушка давно уже что-то говорит ему. Амарча очнулся от своих мыслей.

— Принеси сухих веток — надо костер оживить, белок варить будем.

Амарча накинул старый зипун, нахлобучил шапчонку, и выскочил на улицу. Огляделся — никого. Изо всех чумов валил дым, в воздухе мелькали искорки костров. Видно, соседи тоже кипятили чай и варили что-то в котлах.

И в Госторге топилась печка. Тетя Наташа, наверное, собирается стряпать лепешки, на кухне возится. В большой комнате горит лампа, и ее свет яркой полосой лежит на снегу. Хорошо у Фарковых: у них по вечерам светло, как при солнце, и всегда тепло. Говорят, что скоро и у эвенков будут такие же дома, тогда зиму можно будет легко обманывать. А в чуме надо постоянно жечь дрова, если не хочешь окоченеть.

Амарча набрал охалку сушняка и нырнул в темный прогал чума. Отряхнул от снега бакари¹, бросил на землю сучья.

¹ Бакари — меховая обувь.

Бабушка расшевелила костер, подкинула новых дров.

На улице послышались скрипучие шаги. Бабушка Эки и Амарча, как по команде, вернее уже по привычке, повернули головы к двери. Человек глухо кашлянул, и они узнали председателя артели. Слышно было, как он отряхивал рукавицами снег с дунтов, топал ногами, потом распахнулась лосиная шкура, и вошел Черончин. Шагнул к костру, кряхтя, шумно дыша с при- свистом, сел напротив бабушки Эки.

— Каданре!¹ — простонал он.

— В твой-то годы грех на усталость жаловаться, — сказала бабушка.

— С утра на ногах, — словно оправдываясь, опустив голову, ответил Черончин и попросил: — Налей чаю. Внутри все горит. Хух!..

— Чего ты в лесу-то делал? На охоту вроде не ходишь. — Эки налила кружку густого ароматного чая и подала гостю. Тот, обжигаясь, пофыркивая, жадно выпил.

— Какой из меня охотник? — через минуту заговорил он. — Задыхаюсь, воздуха не хватает. Легкого-то одного нету. Прострелили насквозь, а потом вырезали. Ладно, что русские все умеют, случись такая беда дома, давно закопали бы...

Черончин и Шилькичин считались в стойбище самыми знающими людьми. Где только они не бывали, даже в других странах; видели множество городов. Из рассказов Черончина мы уяснили, что город — это большая каменная фактория и людей там как в муравейнике. И главное — они никогда не работают, днями и ночами спуют по улицам, катаются на машинах и высматривают, где что плохо лежит.

Вез Черончин с Фронта подарки домой — шелковое платье жене, игрушки ребятам и штык от Винтовки — хотел похвастать перед сородичами необыкновенной сталью, но они у него вмиг исчезли. Только, говорит, поставил свой мешок, начал оглядывать огромный зал, ища окошечко, чтобы купить билет на пароход; хотя и с трудом, но все же нашел кассу, только собрался мешок взять, а его и нету! На глазах исчез!

Не дай бог нашему человеку одному оказаться в городе. Туда-то, на войну, рассказывал Черончин, их

¹ К а д а н р е — восклицание усталости.

стадом провезли, где выходить, куда заходить, все говорили, а вот когда возвращался обратно, тут уж одному пришлось ехать. Страху натерпелся на всю жизнь. В поезде так спать не давали. Чуть только задремлешь, сразу несколько рук ощупывать начинают. Деньги ищут!.. Как там живут люди, так и не разобрал. Придешь в контору, смотришь — сидит человек за столом, ничего не делает, однако большие деньги за это сидение получает...

— Наверное, за грамоту платят, — предполагали люди.

— Может, и за грамоту, — соглашался Черончин. — Только я так и не понял, откуда еда-то у них берется... Ну, положим, мы выучим своих ребят, все станут такими начальниками, как Кирэктэ; а кто будет пастушить и добывать пушнину? Желудок-то каждый день есть-пить просит, бумагой его не накормишь?

— Ты что, умнее русских, что ли?

— Нет, не умнее, конечно, а сообразить тут никак не могу. Вижу, что грамотным легче, а откуда должна еда браться — не знаю.

— Нашел о чем думать! Пусть начальники мозгами шевелят, ты расскажи нам еще о городе. Там-то, небось, не дураки живут.

— Да, там умные люди живут... Пройдошистые, мы так не умеем... Ладно, что дом военкомата я запомнил. Без затесов нашел и говорю начальнику: «Мешок мой ушел!»

— Как ушел? Он что, с ногами? — хохочет майор. Веселый человек попался. — Смотри, говорит, как бы твоя голова не ушла. Здесь, брат, не тайга, ухо остро держать надо, обидно будет, если после войны с тобой что-нибудь приключится. — Открыл дверь и кому-то закричал: — Брюханов! Где Брюханов? Позвать сюда!

Через некоторое время зашел мужчина и сразу бросился обниматься:

— Друг, однако мы земляки! Ты с какой фактории будешь?

— Из Суринды, — говорю.

— Так, пехота! А я в Бур еду!..

Рассказал я ему про мешок, он опять меня хлопнул по плечу, плюй, говорит, на эту ерунду, не огорчайся, живы-здоровы остались, а этого добра нажи-

вем!.. Вот с ним и добирались мы дальше. Хороший человек Кеша Брюханов...

— Может, и наши мужья так сгнули,— вздыхали женщины, послушав рассказы Черончина.

...Выпив кружку чая, председатель сам дотянулся до чайника, налил еще.

— Эки, я пришел вот о чем тебя... попросить. Помоги, если можешь, изгородь сделать. Пастухи вот-вот должны подогнать оленей к Бугоркану.— Черончин махнул рукой за реку.— А у нас еще не готово. Места-то там раньше ягельные бывали.

— Там всегда ягель добрый был,— подтвердила бабушка.

— Вот-вот. Подгонят оленей, а у нас изгородь не готова. Грузовых приведут, на три сотни санок.

Бабушка помолчала, навешивая над костром котел с тушками белок. Спросила:

— На мясо-то оставите?

— Не знаю, что и делать. Стыдно людям в глаза смотреть,— пожаловался Черончин.— Хоть бы груз-то привезти, и то легче будет. Волки оленей разгоняют. Не знаю, как и быть...

— Помощница-то из меня плохая,— вздохнула бабушка.— Схожу, конечно, помашу топором, сколько смогу. Силы-то у меня уж не те...

— И то хорошо,— улыбнулся председатель и встал.— Побегу на факторию, посмотрю, не померзли ли там коровы... Харги выдумал этих коров! — с досадой выругался он.— Орут, бедные! Вчера опять их не подоили. Разве можно надеяться на Пэргичок? Если б не Бали, показал бы я ей!

— Когда это Пэргичок дояркой была? Зачем ставил ее к коровам? — упрекнула бабушка.— Она, поди, не знает, с какого боку к ним подходить.

— А где я возьму русскую-то? Просил Наташу, так не соглашается... Ободрать надо этих коров, говорят, мясо у них съедобное!

— В темный дом захотел?

Черончин не ответил, вышел.

Беда с этими коровами. Привезли их на факторию летом, сразу после Победы. По-всякому везли: где на плотках плавили, где они сами, как олени, по берегу шли, но, с горем пополам, доставили все же. Четырех коров и быка. Прибавилось на фактории работы — тра-

ву им надо шипать, ухаживать за ними, доить. Ладно, что Тириков косить умеет, а то в первую зиму пропали бы. А ребятишкам забава — придумали новую загадку: «Спереди рога, сзади хвост, а посредине сено. Что это такое?..»

Закипел, забулькал котел. Бабушка Эки помешала большой деревянной ложкой, попробовала, добавила соли. Запахло-вкусным, даже Качикан облизнулся, следя за хозяйкой. «Чего не едите-то? — казалось, говорил он. — Я тоже хочу косточек». Заметив нетерпение Качикана, бабушка шикнула:

— Тулиски!

Собака виновато опустила голову.

Потом бабушка и Амарча неторопливо ели.

— Что-то твоего друга не видно, — обгладывая косточку, спросила бабушка.

Откуда я знаю, хотел сказать Амарча, как тут же послышались поспешные шажки.

— Вот и он!

Откинув лосину, в чум впрыгнул Воло. Каждый вечер приходил он к ним досидеть. Воло вытер рукавом под носом, шмыгнул и протянул бабушке что-то завернутое в бумажку:

— Ма, онеко, энё сиду унгчэн. На, Бабушка, мама просила передать.

— Что это?

— Сахар.

— У, расти большой, Воло! Скажи своей маме спасибо. — Убрала сверточек в турсук и заговорила сама с собой: — Надо сшить унты Наташе. Собираюсь, собираюсь, а собраться никак не могу: то камус невыделанный, то еще что. Хорошая женщина Наташа-то, надо обязательно сшить... — Вытащила из котла тушку белки и пригласила Воло:

— Ну-ка, Воло, поешь.

— Я сыт, онеко, только что ужинали.

— Садись, Воло, покушай. Ты же не стесняешься нас?

Воло помялся и сел. Взял тушку белки и принялся объедать мясо. Ему нравилась наша еда.

После чая ребятишки кормили Качикана. Подбрасывали вверх косточки, и тот должен был ловить их.

¹ Тулиски! — на улицу!

Если не поймает, они набрасывались на него вдвоем и отбирали косточку. Все начиналось сначала.

— Лови!

Качикан сообразил, что от него требуется, и, встав на задние лапы, ловил.

— Молодец! Только зачем ты Злому Духу показал, где лежит Священная грамота? — выговаривал ему Амарча. — Он и записал в нее худые слова, чтобы нас, людей, вечно мучили болезни, а в тайге стояли холода, зачем?

Качикан, не понимая, вертел головой.

— Вот за это тебя и наказал Добрый Дух. Он отнял у тебя речь, а язык удлинил, чтобы ты вечно питался тем, что тебе рука человеческая подаст. Понял? Эх, дулбун ты, дурак-дурачок...

Заскрипел на улице снег, захлопала невыделанная лосиная шкура, служившая дверью; одна за одной пришли женщины — старушка Буркаик, Пэргичок, другие. Потом появился и Мада. Женщины, старики почти каждый вечер приходят посидеть к бабушке, языками поработать — все как-то веселее. Вспоминают давние времена, обсуждают слухи.

Все расселись вокруг костра, закурили. Ребята присмирели — взрослые разговаривают — не мешай, сиди, словно тебя и нет. Захныкала, выгибаясь на руках у матери, Тымани, ее пытались успокоить, но она все плакала. Воло зачмокал губами и этим привлек внимание девочки. Она уставилась на него черными глазами, Воло ей скорчил рожицу и развеселил девочку — заулыбалась Тымани.

— Воло, придется тебя в няньки нанять, — засмеялась Пэргичок.

Женщины тоже заулыбались, а Воло смутился.

Пока женщины не начали перемывать косточки русским, обсуждать их странности, узду разговора захватил Мада. На сей раз он не смешил, а принес новость, от которой всем стало жутко.

— На Куте, где стоят стойбищами Кондогиры и Бирагиры, один охотник убил утку. Ну, утка как утка, жена отеребила ее, опалила над костром, все сделала как надо. Ножом распорола брюхо, чтобы вывалить кишки. Рукой-то полезла туда, а там вместо внутренностей — одно большое яйцо. Диво! Не поверила своим глазам, подает яйцо мужу, посмотри, мол, что тут ле-

жит. Муж тоже удивился — откуда яйцо, время нестись давно уже прошло. Вышел муж из чума, показывает яйцо людям. Всем диво: ладно ли это? Погадали, поудивлялись, потом решили: давайте, мол, его разобьем. Разбили и... — Мада оглядел женщин. — Там оказалась бумага!.. Да не простая! — Он снова посмотрел на слушательниц и, вероятно не ожидавший такого впечатления от своего рассказа, сам испугался и начал верить: — Развернули бумагу-то, а в ней что-то написано золотыми буквами. Стали читать, а там говорится: скоро конец света!

Мада умолк. Тихо в чуме. Неужели и вправду конец света? Если подумать, все вроде к тому и идет. На что после войны жизнь-то стала похожа? Трудно, ой трудно жить нынче...

Все молчали. Умирать никому не хотелось. Казалось, даже бабушка Эки не может найти нужных слов и ответить Маде.

Зашипел огонь и выстрелил угольком.

— Хингкэчэ! — чуть не в один голос вскрикнули женщины. — Огонь подтверждает!

Воспрянул Мада:

— Этого следовало ожидать! Отвернулись эвенки от законов предков, забыли старую веру и бога! Захотелось жить в деревянных домах, захотелось начальниками сидеть в конторах, вот и расплата приходит!.. И чего нам за русскими гнаться? У них своя жизнь, у нас веками было заведено по-своему. Нам ведь за ними все равно не поспеть. Где теперь наши мужчины?..

Вроде бы и правильные слова говорил Мада, но как-то не хотелось верить в такой конец жизни. Неужто никакой надежды нет на спасение?

— Пустое мелет твой язык. Какой-то недобрый человек разносит этот слух, — сказала, подумав, Эки. — Такие же слухи ходили, когда мы о новой власти узнали. Помните?.. Однако никакого конца света не было, наоборот, жить лучше стали. Если б не война, разве б мы голодали?

Женщины приободрились, облегченно вздохнули.

— Попомните мои слова, — недовольно проворчал Мада. — Люди зря говорить не будут. Вон, на Куте, разве не правы они оказались? Ни бед, ни горя не знают. Почему? Живут по заветам предков! У них ведь

почти всех оленей отобрали, а они опять на ноги встали. Нет, еще немного, и убегу из артели! Пусть меня ищут по всей тайге!

— Сам-то разве не поднимал руку за артель? Или забыл, как кричал: «Хэ, какой тяжелый пуд у новых властей!»

— Верно, кричал,— подтвердила слова бабушки Эки старая Буркаик.— Купцы-то только половину пуда давали.

— А отчего тогда беды всякие? — не успокаивался Мада.— Вот и ребятишек поотбирали у нас, в интернатах грамоте учат, говорят, начальниками, мол, будут. А кто станет оленей пасти да белок промыслять? Нет, не ладно делается.

— Ты думаешь, русским легко сейчас? Вон учительница-то, Тамара Дмитриевна, подмигивавшая тебе, все деньги домой отправляет. Голодают, говорит, и там.

— Меня русские не интересуют. Как хотят, так и живут. У них ума много, нам надо жить своей головой, а не занимать у соседей. Никогда не думал, что на старости лет еду себе буду зарабатывать на дровах для печек да на траве коровам!.. Тьфу!

— Всем, видно, не сладко,— вздохнула Буркаик.— Летом-то приезжал полномоченный, Ганчу моего увез. Он не русский был. Их люди латыши называются. Он рассказывал, может, помните — в Ленинграде-то, где Кинкэ учился, в войну людям давали хлеба один кусочек... И ничего больше. Вот тут я удивилась..

— Чуть не все умерли с голоду,— поддержала старуху одна женщина.

— Говорят, мышей ели...

— Кире!¹ — морщатся женщины.

— Правда! Я тоже слыхала,— подтверждает и Пэргичок.

— Беда. На всей земле, видно, горе,— опять вздыхает бабушка Эки, она всегда так вздыхает.— Слава богу, кончилась проклятая война. Скоро полегче будет. Пока ты, Мада, соберешься на Куту бежать, глядишь, и мы сытно спать станем.

— Вот счастье-то было бы...

Мада пытался говорить еще что-то, но, заметив, что настроение женщин опять поднялось, не стал больше

¹ К и р е — возглас отвращения, брезгливости.

нападать на новые порядки. Никуда он, конечно, убежать не собирался, так, молот языком.

Раеходясь по чумам, женщины шутили:

— Иди, спи спокойно, Мада. Не будет никакого конца света.

Потом, лежа в постели и прижимаясь к спине бабушки, Амарча задавал вопросы: «А как кричал на суглане Мада? Почему он дедушку Бали называет революционером? Что это, плохо или хорошо?»

— Спи! — почему-то не захотела отвечать бабушка. — Отрежу тебе когда-нибудь уши, чтобы ты не слушал того, чего тебе еще не понять... Отца твоего тоже иногда летчиком звали. А дедушка-то Бали не всегда слепым был. И Мада неплохой, это сейчас всех людей жизнь маленько придавила... Спи, потом расскажу, а то мне чуть свет вставать...

Пожалуй, уже два десятка раз осыпалась листва с деревьев и столько же раз, плача, улетали и возвращались птицы, а события тех дней, вот они, как на ладони. Первый суглан!.. Нет такой плашки, которая могла бы придавить память, заставить забыть. Чуть закроет глаза Эки, и сразу, как живые, встают перед ней ее сыновья: Кинкэ, Кутуй, Куманда, и видятся всегда молодыми, красивыми. Иногда во сне они тянут к ней руки, зовут куда-то. Она знает, что нет их на этой земле, не надо бы ей бежать к ним, но ничего не может с собой поделаться — рвется к ним, а они опять куда-то исчезают. Вместо них появляется Колокан и тоже молча манит и манит ее к себе.

Просыпалась бабушка и тут же оборачивалась к внуку — не разбудила ли? Нет, внук спит, посапывает сладко, а под нею подушка мокра от слез...

Не с того ли дня, когда прилетела к ним железная птица и привезла, как в сказке, по воздуху, ее сына, Кинкэ, не с того ли дня что-то перевернулось в ее душе и она поверила в доброту русских людей, в новую жизнь поверила. Много раз она уходила памятью в те далекие дни и думала, думала, все больше и больше убеждаясь: нет, не держат они за пазухой камень, верно дорогу эвенкам указывают. Только так, сообщая, всем миром можно выбиться из тьмы и бедности.

— Хэ, — вздыхала она, прислушиваясь к дыханию внука. — Задержаться бы еще немножко на этом свете. Пусть Амарча вырастет, пусть обретет крылья...

...Была еще зима, промысловое время, когда однажды ночью, на стоянке, подняли собаки переполох. Вскочил, как молодой олень, испуганный Колокан, схватился за ружье. Вылезли из меховых мешков сыновья, перепугалась мать, тогда еще не бабушка Эки, а просто Эки — Старшая Сестра Всех Живущих. Так обращались к самым уважаемым людям, и это имя надо было уметь заслужить. Эки стала оживать потухший огонь:

— О, Добрый Дух! Кто к нам пожаловал?! С добром ли, с худом ли? Оборои нас, о Добрый Дух!.. — приговаривала она, копошась у очага.

За чумом захлебывались в лае собаки. И не понять было, что происходит там, в темноте. Собаки у Эки с Колоканом умные, не пустолайки, зря шум поднимать не будут. Не шатун ли пожаловал? Кто знает, может, бродит рядом. Он хоть и прародитель эвенков, но ружье или пальму иметь надо, когда он в гости приходит.

— Мужики! — сквозь собачий лай послышался чей-то крик.

Замерли в чуме.

— Мужики, уймите собак, разорвут!..

Колокан выскочил в темноту, на мороз.

— Ча! — закричал он. — Ча!

Угомонились собаки, отошли в сторону. Стряхнув в темноте снег с одежды, в чум, весь закуржавевший, ввалился какой-то мужчина.

— Чуть не съели, окаянные!

По голосу узнали Амарчу Чемду.

— Откуда? — удивились. — Время-то нынче не по гостям ездить, а белок добывать. Заблудился, что ли?

— Стоянку вашу еле нашел. По следам ехал. А тут псы... моего Серого, поди, совсем покалечили.

Амарча Чемда разделся, попил чаю, и уж потом протянул им бумагу.

Эки и Колокан испуганно замерли. Таежники всегда боялись бумаг. Ничего доброго в них никогда не бывало. Одни лишь долги.

Взглянув на присмиривших хозяев, Амарча успокоил:

— Не пугайтесь, это хорошая бумага.

И неторопливо стал рассказывать новости, ради чего он в такое время кочует по чумам эвенков.

Летом, в месяц Мучуна, то есть в июне, в период набухания почек на деревьях, намечается большой суглан всех эвенкийских родов, кочующих по Суринде. Амарча Чемда объехал почти все стоянки, люди согласны. Русский начальник просил и вашего согласия. А потом, как бы между прочим, добавил:

— Он просил также сказать вам, что на этом суглане толмачом будет ваш Кинкэ. Говорит, к этому времени должен приехать.

Хэ! Знал, знал этот лешак, как сообщить эту новость. Нет бы с нее начать!

— Эх-хэ! — оживились братья.

Расцвела алой зорькой Эки, заулыбался Колокан. Всем стало хорошо.

— Ну, Амарча, чем тебя отблагодарить-то, не знаем! У меня сейчас сердце наружу выскочит! За то что тянул, придется завтра оленя мозгочить! — радовалась Эки.

Сыновья и Колокан шумно поддержали ее. Не каждый день в чуме такие новости!

Развязались языки. Вспомнили, как три года назад через их летнюю стоянку проезжала молодая русская женщина Глафира Макаровна Устинович. Она записывала в тетради каждую мелочь, расспрашивала о жизни в тайге, об охоте, обычаях, о сказках и преданиях, обо всем. Удивлялись люди, зачем ей это? Разве есть что интересное в их кочевой жизни?

Эта удивительная русская женщина смешно коверкала эвенкийские слова, но разговаривать с ней можно было. Она сама охотно рассказывала про новую жизнь, про сказочный Ленинград, где бедняки поднялись на своих богачей, побороли их и установили свою, справедливую, власть. Лозунг у власти таков: кто не работает, тот не ест!

Кинкэ сразу привязался к этой необыкновенной женщине, внимательно слушал ее, сам о чем-то расспрашивал. А перед отъездом она вдруг сказала Колокану:

— В Ленинграде открывается институт Народов Крайнего Севера. Будут учить ваших детей, чтобы понимали язык бумаги, чтобы у вас была своя национальная интеллигенция. Я заезжала в Нербобо, в ваш

центр, и договорилась о нескольких учениках. Хочу, чтобы учился там и Кинкэ. Он способный, умный юноша. Думаю, когда овладеет грамотой, станет настоящим хозяином своей земли. Какое будет ваше слово?

Обращение русской женщины понравилось Колокану, но он молчал, словно обдумывал сказанное, а Эки не смела лезть со своими советами — ее не спрашивали, как не спрашивали и Куманду, старшего брата, он еще без жены, без своего чума, значит, и он — безголосая рыба. Слово было за Колоканом.

— У нас вера такая: мужчина должен быть добытчиком, кормильцем своей семьи, — сказал неопределенно отец.

— С грамотой-то он лучше прокормит, — стояла на своем женщина.

Эки взглянула на сына и поняла — в мыслях тот давно уже далеко кочует. Поняла, но вопреки себе заговорила:

— Разве это дело — мужчине с бумагами возиться? Кто будет за оленями присматривать? Да и тори пора готовить, не век же ему со стариками жить...

Не успела договорить, как ее перебил Колокан:

— Ча! Кто здесь хозяин? Не мной было сказано: волос длинный, а ум короткий. О вас, женщинах, сказано. Это и тебя, матери моих детей, касается!.. Моя речь такова: если едут другие, пусть и Кинкэ наш новую тропу осваивает. Чем он хуже?

Так неожиданно решила его судьба, и Кинкэ вместе с женщиной уехал куда-то на край света.

Первое долгожданное письмо, успокоившее сердце Эки, получили к Новому году, когда уже закончили осеннюю охоту. Каждый человек, побывавший в чуме, желал послушать, о чем пишет Кинкэ. По несколько раз перечитывали письмо. Люди радовались, что Кинкэ жив и здоров, вслух одобряли его заботу о здоровье родных, об охотничьем промысле и недоуменно замирали, когда Кинкэ описывал город.

«Что можно рассказать о городе? — спрашивал Кинкэ и сам же отвечал. — Боюсь, что из моего письма вам не все будет понятно. Тут, как сказителю, нужно время, чтобы все объяснить. Чудеса здесь на каждом шагу.»

Город в основном состоит из камня и железа, куда ни кинь взгляд — всюду камень и железо, даже берега

реки Невы и многочисленных речек одеты в камень. Дороги и улицы гладкие, как доски. По ним день и ночь, гудя и свистя, снуют машины и трамваи. Без лошадей большие железные санки бегут по улицам, возя людей и всякие грузы. Трамвай, тот еще больше, еще сильнее, потому что сколько людей не влезет в него (некоторые даже висят с боков и сзади), все равно везет.

И дома здесь тоже каменные, громадные, как скалы. Окошко на окошке сидит, как большие каменные норы. Комнаты в них есть такие огромные, как наша поляна в стойбище. Все эвенки вместе с оленями, собаками могут войти, да еще место останется. Они такие высокие, что загораживают все: и деревья и солнце. Скучно глазам. В первое время мы все скучали, очень хотелось домой... Ходить по улицам мы боялись. Думамы, вдруг зазеваешься, выскочит машина из-за угла и задавит. Гул, лягз, скрежет железа, гудки и свистки машин, казалось нам, с ума сойти можно. Мы плохо спали по ночам, постоянно вздрагивали и вскакивали...

Выдали нам тут русскую обувь — сапоги, теперь-то привык я к ним — хожу, город разглядываю, а поначалу тяжело было, будто в оленьих башмаках¹. Но без сапог еще хуже — в первые дни я все ноги об камни отбил...

Привыкаю я помаленьку, и город начинает мне все больше и больше нравиться. Может, это еще из-за того, что у людей тут сердца не каменные, а добрые и отзывчивые. К нам все здесь хорошо относятся. Каждый день вижу Глафиру Макаровну, которая учит нас, эвенков, и сама учится эвенкийскому языку...»

...И вот Кинкэ летом вернется домой. Будет толмачом на суглане. Как же не порадоваться такой вести?! всю ночь пылал костер, слышался нескончаемый разговор. По этому случаю и у Колокана язык развязался — вспоминал он родовые сугланы, покруты в русских деревнях.

С тех пор семья Хэйкогиров, и особенно сердце Эки жили ожиданием лета. Мать начала считать дни, но это оказалось таким мучительным занятием, что она

¹ Олений башмак — путы; палка с ременными застежками на концах.

вскоре оставила его. Потом она поняла — надо постоянно давать своим рукам и голове работу, так незаметнее летит время. С раннего утра, хотя и раньше она не сидела без дела, Эки начинала возиться с котлами, посудой, едой для собак, аргишила на новые стоянки, день и ночь не давала себе роздыху. Муж с сыновьями шутили:

— Видать, у тебя еще одни руки выросли, мать?

— У меня крылья выросли!.. А вы не смейтесь, лучше о помощниках мне подумайте, а то останетесь бобылями. Я помогла бы ребятишек нянчить... Тебе, Куманда, пора уже своим гнездом обзаводиться. Я слышала, Чемды свою дочь хотят за старого Майгунчу выдать. У него оленей — как муравьев в лесу. Не у каждого ума хватит их сосчитать. Вот и будет, бедняжка, второй женой у старика...

Куманда нахмурился.

— У нас тоже хватило бы оленей, — продолжала мать, заметив, как он опечалился. — Но не знаю, кому их готовим. Ты, отец, не решил, к кому пойдем за «уздой согласия»?

— Лето покажет. Может, с Чемдами летовать будем, — отвечал, чуть улыбувшись, Колокан.

Значит, и отец заметил. Куманде нравилась девушка.

Пришел месяц Телят — самое желанное для эвенка время. Появление олененка — вот настоящая весна! Ведь оленята — самые красивые и самые желанные цветы тайги и тундры! У таежников одна мысль: хорошо бы все важеньки оленят подарили. Вот счастье было бы!

Но и хлопотное это время. За каждой важенькой нужно глядеть в оба: чтобы олененок не на снегу родился, иначе не жилец он на белом свете, а для этого надо уметь солнечные, открытые места выбирать. Любую мелочь надо предусмотреть. «Лучше жену потерять, чем оленя» — так в старину говорили.

Но, видно, весна решила преподнести Хэйкогирам еще одну радость. Все два десятка важенок принесли тонконогих, темноглазых оленят.

Повеселел Колокан — не в тягость стали обязанности настуха. Вместе с солнышком он вставал с постели, будил сыновей, и, наскоро попив чаю, опоясавшись арканами, взяв ружья и пальмы, — все трое скрывались в лесу. Надо осмотреть не только пастбище, где пасут-

ся олени, но и всю ближнюю тайгу: не появился ли где амикан поблизости? Он вылез сейчас из берлоги, тощий, злой на весь белый свет, бегаёт по всей тайге — разминает ноги. Когда ещё появится сочная трава и сладкая ягода, когда ещё нагуляет он жиру? А сейчас надо укараулить от него беспомощных оленят. Могут появиться и волки. Эти разбойники — дай им волю — прирежут все стадо, сразу можешь оказаться нищим. Правда, у волков теперь тоже хлопот хватает: нянчат своих волчат, но если учуют оленей — не миновать беды.

Идут по тайге мужчины, кричат, стучат пальмами по деревьям — услышат непрошенные гости людей, отвернут в сторону. Не любят звери с человеком встречаться. Надо ещё костры запалить, чтобы пахло дымом, а потом можно и к оленям вернуться, запятнать малышей — поставить на ушко родовое клеймо.

До самого полудня мужчины будут рядом с оленями, возвратятся в чум, чтобы поесть, и снова в тайгу. Мокро стало — появились в лесу светлые лужицы. Ну, да это тоже не большая беда, лишь бы уберечь оленей, тогда зимы да холода нипочем будут.

В молодости быстро забываются несчастья, как не задерживается мутная вода в стремительном ручейке.

Забылась тяжёлая зима, засияло молодое солнышко и принесло Кумаиде светлые мечты. Как-то мать прислушалась к песне сына, которую он пел, возвращаясь к чуму, зимы не было в песне, была весна и любовь.

Улетели вьюги белой куропаткой,
Эгэлэй, эгэлэй!¹
Заалел восток глухаринной бровью,
Эгэлэй, эгэлэй!
Там, где закат целуется с восходом,
Эгэлэй, эгэлэй!
В самом центре Полярной Земли,
Эгэлэй, эгэлэй!
Появились цветы тайги — оленята,
Эгэлэй, эгэлэй!
Наша надежда и наши крылья,
Эгэлэй, эгэлэй!
Оленята вырастут и понесут меня,
Эгэлэй, эгэлэй!
Туда, где находится сердце мое,
Эгэлэй, эгэлэй!

¹ Эгэлэй — непереводаемый припев.

Песня хорошая, а вот пел ее Куманда с грустью. Хэ, подумалось матери, в мыслях-то ты совсем в другом месте кочуешь. Пошутили тогда про дочку Чемды, да, видно, вправду, надо готовить оленей на тори. Вырос Куманда, стал мужчиной; вон и у Кутуя появился пушок над верхней губой. Но Кутуй стеснительный, смиренный, как ездовой олень-учуг, весь в отца, такой же неразговорчивый, точно у него рот зашит. Ему невесту придется самим выбирать...

Эки вспомнила свои молодые годы и тоже взгрустнула. Но то ли весна такая, дружная и солнечная была, то ли радость ожидания младшего сына не дали грусти расти, вскоре она облегченно вздохнула:

— Хэ! Как хорошо молодым быть!..

Улыбалось солнце, смеялись ручьи, искрился ослепительный снег — больно было глазам.

Тут и время подоспело вести караван на суглан в Суринду. Начались привычные хлопоты, суматоха. Проветренные, починенные зимние парки, шапки, унты, штаны из ровдуги¹, рукавицы — все упаковали в аккуратные узлы, сложили в турсуки и свезли на лабаз. Оттуда достали летнюю одежду, перетрясли, осмотрели — не погрызли ли где мыши? Примерили — Куманда растет, малы ему праздничные наряды! Пошутили, посмеялись, да ничего, придется Эки поработать иглой и сшить новый зипун, а этот достанется Кутую.

— Пока у меня сердце с крыльями, так разрисую новый зипун, что ни одна девушка не пройдет мимо, не взглянув на тебя! — пошутила Эки. — Все невесты твои будут. Вот где только оленей столько возьмем?!

Три дня томились мужчины от безделья, пока Эки на свой лад кроила и украшала бисером, разноцветными лоскутками новое сукно, но зато сшила на славу, не уронила чести мастерицы. Любят мужчины яркое, как дети.

Тронули аргиш знакомой тропой мимо хребта Олений Сосок, по марям, по болотам, до самой речки Суринды, к летнему стойбищу, где намечено проводить суглан.

Хэйкогиры первыми подошли к Суринде. Поставили чум на прежнем излюбленном месте, огляделись — зря торопились, никого еще нет. Ладно, не беда. Мож-

¹ Ровдуга — оленья замша.

но порыбачить, поохотиться на уток, отдохнуть, благе деньки хорошие.

Зазвенели гитары на оленях Ушкагиров, Анкоулей, Кондогиров, Бирагиров... В один день выросли островерхие чумы и запылали рядом костры. Наверное, никогда еще не бывало на берегу Суринды столько костров и чумов сразу. Людей-то, оказывается, в тайге тоже целый муравейник!.. Шумно стало. Лаяли и постоянно затевали драки собаки, пришлось унимать задиристых забяк, привязав к деревьям. Между чумами бегали, хоркая, важенки — разыскивали оленят.

От чума к чуму потянулись люди. Мужчины вели разговоры об охоте, о прошедшем отеле, о предстоящем суглане; у женщин — свои дела; а молодежь стала заводить хороводные пляски. Весна всегда была временем «ёхорьё». До самого утра не смолкали смех, крики, гомон. И, как всегда бывало, начнут танцы молодые, а потом, глядишь, выйдут из любопытства и пожилые — вроде бы просто так, хоровод посмотреть, да не заметят, как сами увлекутся, пустятся в пляс, и зашумит тогда все стойбище.

В один из теплых, по-настоящему летних вечеров, когда солнышко уже гнездилось на макушках деревьев, все люди вышли из чумов к кострам, с интересом поглядывали на молодых. И, как всегда в таких случаях, послышался чей-то голос:

— Эй, Амарча Чемда, иди, вставай в круг!

— Мада! Присоединяйся!

— Эх, была не была! Вспомнить молодость, что ли? — тут же вскочил Чемда. Голос у него хороший, раньше он часто бывал заводилой на молодежных гуляньях, мог до утра петь да плясать.

Тряхнув косматой своей головой, улыбаясь, он прошел в хоровод.

— Тогда тебе и начинать!

— Ну, хитрецы!

Все засмеялись. В круг встали еще несколько пожилых мужчин.

— Где ты, наше солнцеликое счастье! — начал Амарча, но поперхнулся. — Что-то голос у меня охрип!

— Вот привезут русские спирт, сразу прочистится!

Снова раздался смех, шумно стало.

— Со спиртом и безголосые запоют! А ты так давай!

Амарча прокашлялся:

О солнцеликое счастье!
Ехорьё, ёхорьё!

Хоровод подхватил:

О солнцеликое счастье!
Ехорьё, ёхорьё!

Амарча повел дальше:

Ты глазами зовешь меня,
Ехорьё, ёхорьё!
Идти за тобою в неведомую даль,
Ехорьё, ёхорьё! —

глуховатым, но приятным голосом выводил Амарча. Никто не мог соревноваться с ним в любовных песнях. Умел он вязать слова, и песни его получались самыми красивыми.

Хороший хоровод вышел. Но где-то на середине песни мысли Амарчи повернули на сегодняшний день, и он запел:

В нашу тайгу идет новая жизнь,
Ехорьё, ёхорьё!
Братство и дружбу нам обещает,
Ехорьё, ёхорьё!
Об этом будет наш суглан,
Ехорьё, ёхорьё!
На суглан приедет Кинкэ Хэйкогир,
Ехорьё, ёхорьё!
Он в красивом каменном стойбяще учился,
Ехорьё, ёхорьё!.

Хэ, какой хоровод получился! Обо всем было спето. Уставшие танцоры повалились на молодую траву, а потом, отдохнув, затеяли борьбу. На этот раз Куманда отличился. Тут ему не оказалось равных. Начали подзадоривать мужчин.

— Спины у вас еще весенние, — шутил Амарча, — размякли после зимы. На следующий год с Кумандой померяюсь силой. Он здоровый, как лось, но, думаю, меня, как родственника, пожалеет и нарочно поддастся.

Слова Амарчи вызвали громкий смех, а смущенные парень с девушкой убежали к реке.

Скоро будет новая семья.

Уже утром расходились по чумам. Все думали об одном: когда же приедут русские? Вон, комар уж уда-

рил, надо будет оленей гнать на летние пастбища, а их все нет и нет... Интересно, каким Кинкэ стал, наверное, шибко походит теперь на русских?

Посматривали вниз по течению реки, на дорогу, ведущую к Нербоко,— может, оттуда появятся новые власти. Кончались припасы муки, соли, табака, потому и ждали их с нетерпением.

— Кунец не заставил бы себя ждать.— Кое-кто осуждающе качал головой.— Тут как тут был бы.

Парни и девушки просили старух погадать на палочках, когда же придут русские и, считай, все прокараулили их! Грех один вышел, стыдно вспоминать даже! Да что поделаешь, если русские, как нарочно, решили показать им чудо!

— Пусть лучше об этом Мада расскажет,— смеялись потом над собой.

— Память дырявая стала,— улыбаясь, отнекивался Мада, но, поломавшись, все же рассказывал.

А дело было так.

Мада проснулся от сильного толчка в бок.

— Скоро солнце будет с другой стороны заглядывать в чум, а ты все валяешься! Нет ли пролежней на боках? Сколько тебя можно будить?! О, леший, награди меня таким муженьком... Другие давно уже мяса, рыбы наелись, а у меня вечно котлы чистые!.. Вставай! — жена еще раз ткнула Маду и вышла из чума. Но и с улицы продолжали сыпаться-ее проклятья. По словам Мады, она оправдывала свое имя Онголик — Кедровка. Долбила и долбила...

«Вот поганая птица! — недовольно подумал он о жене. — Не даст выспаться».

Вчера он лег поздно, хотя, надо признать, и без этого был большим любителем поспать да поваляться на шкурах. Все это знали. Даже прозвище ему придумали: «Амэ — на ходу спящий». В глаза, правда, никто так не говорил, но до ушей Мады оно все же дошло. «Это, конечно, моя Кедровка придумала», — считал он. Тогда еще люди ценили его руки — лучше всех он умел делать берестяные лодки. Легкие, удобные получались.

Пока ждали русских, мужчины высмотрели несколько толстых берез, надрали бересты, и Мада смастеряла три лодки. Эту работу он почти никому не доверял.

Сам сходил в лес за еловыми корнями, чем сшивать лодку, насобирал липкой серы, сам перемешал с углем — хорошая замазка вышла для швов. В такие дни Маду трудно было узнать, даже сон у него пропадал, ходил он веселый, покрикивал на своих помощников. Ему бы бересты доброй — всем бы наделал лодок!..

Поднявшись со шкуры, Мада лениво зевнул, почесал пятерней в грязных волосах и потянулся за трубкой. «Хэ, сладко же спать. Зачем только вчера сетенку закинул, — подумал он. — Глядишь, полежал бы еще. А эта, Кедровка, сходила б к соседям, принесла рыбы — и никакой заботы. По нимату доля-от улова Хэйкогиров полагалась и нам. Они вчера ленок и тайменной поймали... Эх ты, Кедровка!»

Одевшись, набил трубку мхом и вышел на улицу.

А солнце и впрямь было уже над головой. Слегка паяило. Около чумов разведены дымокуры, к ним жмутся олени. Женщины у костров копошатся, с речки доносятся крики ребят.

«Славный будет денек, ни облачка на небе. Может даже паут ударить».

— Ребятишки! Мою лодку не растопчите! — крикнул Мада.

Никто его лодку не собирался топтать, а крикнул он просто так, давая о себе знать: вот, мол, я не сплю, на ногах. Кое-кто, действительно привлеченный криком, обернулся и молча посмотрел на него. Ага, теперь можно и заняться чем-нибудь, но прежде надо сетку проверить.

Мада вперевадку, как гусь, спустился к реке, перевернул берестянку и, подняв, осторожно опустил на воду. Ладная вышла лодонка — ни капли не пропускает. Поудобнее усевшись, он стал веслить к курьюшке, где вчера закинул сеть. На реке было спокойно — ни ветерка, ни ряби. Над головой со свистом пролетела утка, со стойбища доносился привычный гомон.

Возвращался Мада повеселевшим. Попалось штук пять небольших щук, несколько окунишек, налимов. Конечно, это тебе не таймени, но уха все же будет.

«Успокоится моя Кедровка, — думал он, — работу ей привезу. Пусть гремит котлами, а то, видишь ли, они у нее вечно чистые! Ки... рэки!.. Ки... рэки!» — Мада передразнил птицу.

Но вдруг замер, перестал грести, насторожился: слышался какой-то непонятный гул.

«Откуда гром?» — Он огляделся по сторонам. На небе — ни облачка.

Хотел было опустить в воду весло, но уши снова поймали тот диковинный шум. «Верно ли слышат мои уши. — Мада даже потрогал одно ухо, другое, ошупал себя, нет, все у него в порядке. — Так откуда же гром? О, Добрый Дух! Не конец ли света пришел?!»

Гул становился все громче. Мада глянул на стойбище — там тоже творилось что-то невероятное — все бегали, кричали; неустово, захлебываясь, лаяли собаки; метались олени.

— Амарча...а...а! Ганча...а! — крики сливались в один сплошной вой. Кто-то уже молился, кто-то искал детей, дети плакали.

«Конец света!» — опять мелькнуло в голове у Мады. Схватив весло, лежащее на бортах лодки, он зашпешил к берегу.

Грохот, похожий чем-то на отдаленный гром, нарастал, становился отчетливее. Затем из-за хребта, над лесом, появилась какая-то огромная, сверкающая на солнце птица. Это она изрыгала страшный, непонятный гул.

«Не посланцы ли это бога — Эксэри?!» — Мада выпрыгнул из лодки, да с перепугу не рассчитал и бухнулся в воду. Вскочил, как молодой олень, вскарабкался на сухое место. Ошалело заозирался вокруг.

В тот момент увидел его старичок Куйки. Он один оставался спокойным, сидел на бережке рядом с костром и смолил лодчонку. Он был совершенно глухим.

«Хэ, откуда у Мады ноги взялись? — удивленно подумал он. — Уж не амиқан ли его пугнул? Хорошо бы! Пошустрее будет, засоня...»

Куйки проследил за резвостью Мады, но, увидев его вконец обезумевшим, забеспокоился сам. «Однако тут дело вроде не в амиқане. Что-то больно лицо у него чудное...»

Старичок обернулся к стойбищу, разглядел шархающихся из стороны в сторону людей, встревоженных собак и оленей, испугался — вдруг опасность какая рядом? И тут глаза его наткнулись на что-то диковинное, движущееся по небу. Куйки вскрикнул, вскочил на ноги и заковылял, выбиваясь из сил, за Мадой...

Через некоторое время грохот стал слышен и на реке, потом все увидели, как это странное существо шлепнулось на воду, взметнуло тысячи брызг и оглушительно зарокотало, да так, что ушам больно стало. Наконец затихло.

Из лесу доносились причитания, стоны, плач ребятишек... Но вскоре и там все смолкло.

От тишины у Мады зазвенело в ушах. Зажал одно ухо рукой, но звон не проходил. Разжал — тишина... Залилась как ни в чем не бывало птичка, в траве застрекотал кузнечик. Они что, ничего не чувствуют? Придет конец света, а они все так же стрекотать да петь будут?

«Сейчас чудовище пойдет людей искать». Не помня себя, ломая кусты, Мада побежал еще дальше в чащу. Попалась большая коряжина с корнями, похожими на рога лося. Хотел перелезть, да одышка взяла, ослаб вконец и сполз на мох, боязливо прижался к коряжине, втиснулся под нее — будь что будет.

Не успел Мада отдышаться, как затрещали рядом кусты — это продирался старик Куйки.

«Боже, кто это? Не за мной ли?» — Мада зажмурил глаза.

Эки прочесывала мягкую кору жимолости на стельки, когда до ее ушей донесся этот необычный гул, словно кто-то на одном дыхании тянул монотонную мелодию на пэнггивкэвуне. Но почему так долго и нудно, да и звук-то становится каким-то рокочущим? Похоже на гром, но и громом такое не назовешь. Взволновалась и в замешательстве выскочила из чума; на улице тоже происходило что-то странное. Навстречу ей бежала жена Мады с перекошенным от страха лицом.

— Эки, ладно ли у меня с головой? Что-то гудит! Не коварство ли это Злых Духов, хэй?..

— Что-то с небом случилось! В той стороне! — испуганно показала рукой Эки. О, Добрый Дух, не дай нам пропасть!..

Над верхушками деревьев показалась темная, движущаяся точка.

— Вон оно! Вон оно! Что это?! — закричали разом женщины и ребятишки.

— Дети!.. Сарта!.. Ганча! Хэ-эй!..

Кричали одновременно все. Залаяли собаки, звякая колокольчиками, вскочили и заметались олени. Люди, схватив на руки ребятишек, помчались к лесу. За ними — собаки, олени. Так все и бежало, обезумевшие, боясь отстать друг от друга, стараясь держаться вместе.

Амарча Чемда зачем-то схватил в руки пальму, словно хотел защищаться от этого чудовища.

— Под колодины прячьтесь! — кричал он.

Мимо него, колотя в бока сильного ездового оленя, промчался к лесу старик Майгунча. Когда он успел зарканить учуга?..

— О, Добрый Дух!..

— Кинкэ Колоканович, выходите первым, а мы уж не будем пока показываться. Еще больше можем людей напугать, — сказал представитель Комитета народов Севера Иван Петрович Петров, высокий молодой мужчина.

Летчик сдвинул дверцу стальной птицы, и Кинкэ выпрыгнул на каменистый берег. Обернулся — гидросамолет «Комсеверпуть-2» гигантской гагарой распластался на воде. Жаром пахло от моторов, засверкали на солнце стекла пилотской кабины. Такого чудовища не диво испугаться! Кинкэ, уже немало повидававшему русских чудес, и то вначале боязно было садиться в него. А тут, виданное ли дело для таежных эвенков — гигантская грохочущая птица в воздухе?

Стойбище было пустым. Одни чумы и дымящие костры. Собак и то не видно, лишь те, что на привязи, с удивлением уставились на Кинкэ. Надо искать людей.

— Люди! Люди! Выходите, не бойтесь! Это я, Кинкэ Хэйкогир! — закричал он. — Это я, Кинкэ! Прилетел на железной птице русских! Выходите!..

В ответ ни звука.

— Иван Петрович, я пойду найду кого-нибудь, а там...

— Хорошо, — понял его Петров и, улыбаясь, сказал летчику: — Надо же, а? Ведь слухи-то о железных птицах у них давно ходят, а встреча видишь какой получается?

— Знаю, — отозвался тот. — И у нас, в русских де-

ревнях, до сих пор так. Прилетишь — чего только не насмотришься!.. Кого из подполья вытаскивают, кого из сена... Привыкнул!

— Конечно, привыкнул, — опять улыбнулся Петров.

Кинкэ поднялся к стойбищу, прошел мимо одного распахнутого чума, заглянул во второй — никого... Везде пусто.

— Люди! Это я, Кинкэ! Прилетел на железной птице русских! Не бойтесь, выходите!

Никто ему не ответил.

Кинкэ постоял, подумал, потом решительно пошел к лесу. Дошел до большой коряжины, хотел было обойти ее и тут увидел чьи-то ноги, обутые в мокрые сукожные унты.

— Гирки, друг, вылезай! — Кинкэ потянул за ногу. Человек закричал дурным голосом, стал еще дальше втыскиваться под свое укрытие.

Кинкэ узнал Маду.

— Мадуча, Мада! Это я, Кинкэ!

Мада, превозмогая страх, приоткрыл один глаз.

— Откуда ты? — губы его тряслись, голос дрожал. На щеке смешно дергалась бородавка.

— Вылазь. Я прилетел на железной птице русских людей. Пойдем к берегу, вставай, поможешь найти остальных. — Кинкэ не удержался от улыбки. — Что, думали посланцы Эксэри прилетели?

— Голос как будто твой. Лицо будто твое. Не признание ли ты?

— Нет, я самый настоящий Кинкэ. Пойдем, — он потянул Маду за рукав.

Из-за дерева, осторожно выглядывая, словно скрадывая добычу, показался Амарча Чемда.

— Ты не нас ли приготовился бить? — засмеялся Кинкэ, увидев у Амарчи пальму.

— Кинкэ прилетел! — закричал Амарча. — Эй, выходите! Кинкэ здесь!

Лес ожил. По одному, держа за руки малышей, к ним стали приближаться люди.

Вышла Эки. Нет, глаза не обманывали — это был ее сын, Кинкэ. Она бросилась к нему:

— Хутэ, откуда ты взялся? С неба?

Кинкэ прижался к матери. Пойманной птичкой затрепетало, запрыгало сердце Эки. Поцеловать бы сына, как это делают русские, но у нее хватило сил сдер-

жаться, лишь приюхалась к нему — сколько лет прошло, сколько дорог Кинкэ обошел, а запах остался! Не выветрился!

Краем глаза увидела, что и сыну хотелось поцеловать ее, но он тоже смущенно переборол себя, не дал волю чувствам.

Эки чуть заметно подтолкнула Кинкэ к братьям, к другим людям: отдай знаки внимания и им, ведь тебе все рады, все тебя ждали. Кинкэ понял и, улыбаясь, стал здороваться.

— Пойдемте к самолету, — сказал он.

— Эбэй! Не пойдем, — снова испугались люди.

— Пойдемте! — повторил Кинкэ и потянул за собой Куманду и Амарчу Чемду. Те боязливо, все еще упираясь, двинулись за ним, а сзади, переговариваясь, прячась за спины мужей и братьев, шли женщины. Мужчины все же приблизились к гидросамолету, а женщины словно застыли поодаль, на угоре.

— Он живой! Слышите, дышит! — прислушавшись к шипению рации, сказал кто-то.

— Да, да, дышит, — все закивали согласно.

— А где у железной птицы сердце, здесь? — чуть осмелев, Мада указал рукой на один из моторов.

— Верно, — с улыбкой подтвердил Кинкэ.

Помаленьку и остальные набрались храбрости, осмотрели чудо. У железной птицы обнаружили все, что должно быть у настоящего живого существа. Однако, в отличие от обычной птицы, у этой оказалось два сердца — моторы, два живота — кабины, несколько клювов — лопасти, и длинные запутанные кишки — провода... Все было у этой птицы, тем более что кормить ее надо очень пахучей жидкостью.

— Люди, обуздавшие эту громадную гагару, наверное, самые великие шаманы! Они всюду могут бывать! В Верхнем мире, на Солнце и на Луне! Они могут долететь до Звезд! С душами наших предков могут встречаться! О, это великие шаманы! У нас таких нет! — за всех высказался Мада. Это была его знаменитая речь, которая запомнилась всем.

Летчик, бортмеханик и Петров выслушали эту «говорку», переведенную Кинкэ, и тогда Петров сказал ответные слова:

— Мы очень рады, что вам понравилась наша птица. Человеческий разум может все, может создавать и

таких летающих птиц. Мы не боги, не духи, мы простые люди. Нас направила к вам партия большевиков. У нас рабочие и крестьяне уже давно прогнали своих богачей и установили Советскую власть, власть бедняков. И люди все равны. Мы хотим провести у вас суглан и организовать простейшие производственные объединения, чтобы вы жили и трудились единой семьей. Вот какое задание на первое время... А сейчас помогите нам выгрузить товары...

— Хэ! — снова все удивились. — Вот так птица! Она еще и муку привезла! Кинкэ! Это ты позвал этих людей — летчиков? Они как будто знали, что у нас продукты кончаются. Кинкэ, ты тоже летчик! Ты первый из нас поднялся к солнцу, отныне имя тебе — летчик!.. Большим человеком ты стал!..

Эки не могла наглядеться на сына. Он вырос, стал стройнее, красивее и, что интересно, — почему-то походит теперь на русских. Может, это одежда сделала его таким? Темные брюки, сапоги, гимнастерка, на голове — фуражка. На гимнастерке прикреплен какой-то блестящий значок. «Не медаль ли новых властей? У Майгунчи Большого есть царская медаль, похожая на солнце. Всех людей в трепет бросало, когда он вешал ее себе на шею».

А Кинкэ все отвечал на вопросы сородичей, улыбался, смеялся весело. Этот смех эхом отзывался в сердце матери, и она смутно, чутьем угадала, что сын стал другим человеком, знающим что-то такое, чего они, живя в тайге, не ведают. Наверно, ему довелось увидеть и узнать многое. «С хитрыми людьми разве был бы таким веселым и счастливым Кинкэ?» — думала мать. Она благодарно взглянула на высокого рослого мужчину, представителя новой власти, подошла к нему, приоткрыла рот, смущенно сказала одно-единственное слово, которое знала по-русски:

— Пасибо.

Петров посмотрел на нее и, тоже засмущавшись, взял ее за руку:

— Спасибо и вам, мамаша! Хороший, замечательный сын у вас!..

— Чего же вы нас чукином и костным мозгом не угощаете? — весело спросил Кинкэ.

— Хэ, совсем забыли! — засмеялись люди. — Думали, вы разговорами сыты будете!

В окружении братьев и сверстников Кинкэ направился к родному чуму.

* * *

Суглан назначили на утро. Молодые парни, мужчины топорами расчистили полянку, накололи сосновых плах для стола, подровняли два пня для сидений. Хорошо получилось, даже чуточку на русский лад. А людям сидения не нужны — на траве посидят, по-своему то, по-эвенкийски, лучше будет.

Горячим яичным желтком прокатилось по горизонту незакатное солнце и снова стало подниматься кверху. В кустах проснулись первые птички, а стойбище, кроме уставших вчера ребятишек, и вовсе нынче спать не дожилося. Много ли сна старикам надо? Это молодые могут сном наслаждаться, а старый — прикорнул чуток, и ладно. Да и разве уснешь после такого-то дня? Только и разговоров было что о самолете да предстоящем суглане, о переменах в жизни. Теперь-то все над собой смеялись: трусливее зайцев, мол, оказались, как мыши, хотели под колодиной скрыться. Вот времена-то пошли!

С первыми лучами солнца все же сморило и стариков, разошлись по своим чумам, чтобы через час-другой снова собраться.

Едва проснувшись, мужчины и парни потянулись к полянке.

Одежда человека порой может сказать больше, нежели он сам. По ней можно безошибочно узнать его род, состояние. Чем зажиточнее, тем украшение ярче. В нарядных нагрудниках, расшитых бисером и разноцветной материей, в дорогих унтах появились Кондогирь и Бирагирь. О, если б была зима, они могли бы и не так еще нарядиться. Шубы из горностая, соболиные шапки, белоснежные унты хранятся у них в лабазах!.. У Майгунчи Большого наряд был разукрашен всеми цветами радуги. Снегирь да и только! Не побоялся нацепить на грудь даже сияющую, как солнце, бляху — ту медаль, что подарил ему поп за богатые приношения. Пусть знают, какой Майгунча хозяин!

Приделались даже те из Кондогиров и Бирагиров, у кого вовек не бывало не только нагрудников, но и шарки хорошей. Но надо было показать русским, что в их

родах все равны: нет ни богатых, ни бедных. Многочисленным стадом они прошли на полянку и сели на землю, поближе к столу.

Мужчины других родов не могли похвастать такими одеждами. Немногие Чемды, Анкоули, Хэйкогиры и Ушкагиры были в обновках. Стесняясь своей бедности, Чемды, например, остановились в сторонке.

— Я вам говорил, что женщины не придут,— по-русски шепнул Петрову Кинкэ.

— Поближе, товарищи! — не обращая внимания на его слова, сказал Петров.— А почему женщин не видно?

Кинкэ перевел.

— Бабам в чуме место...

— У бабы ума нету!..

— Волосы длинные, а ума — нету!..

— Это не дело, товарищи,— покачал головой Петров.— Женщина такой же человек, как и мужчина. По новым законам она имеет полное право принимать участие в нашем суглане.

— Это у вас, у русских. У нас вера другая,— возразил Майгунча Большой.

Его шумно поддержали остальные мужчины.

— Может, с нашими женами говорить будешь? Мы можем уйти.— Майгунча Большой хотел подняться, но кругом загалдели:

— Зачем на суглан позвали?.. О бабах болтать? Разве она может понять умную речь?

— У ней ум — как дым!..

— Подождите, товарищи! — поднял руку Петров. Лицо его покраснелось.

— Не дело говоришь, начальник!..

— О новой жизни толкуй!

— Вот, братец, задачка-то,— вздохнул Петров, но потом сообразил: — Ладно, Кинкэ, попробуем так: женщины будут присутствовать на суглане. Объясни всем: если в семье кормильца нет,— та, значит, с решающим голосом, ну, словом, женщины-вдовы, а все остальные — с совещательным!..

Начались переговоры. Уперлись мужики, не хотят признавать равными женщин. Казалось, вот-вот пришли к соглашению: у женщин, мол, есть и глаза, и уши, и понимают они кое-что... Но чтобы она наравне с мужчиной решала — нет, ни в какую!.. Не будет такого!

Пришлось начальнику уступить, и на первом суглане женщины присутствовали с совещательным голо- сом.

Новый начальник понравился женщинам: о хороших законах толкует. Суглан продолжили.

— Надо объединяться. Только так эвенки смогут выйти из вековой нужды, только так можно одолеть голод и невежество...

— Разве мы не вместе живем, не в одной тайге? — повел речь Майгунча Большой. — В одном месте не хватит ягеля всем оленям, зверя меньше достанется. Зачем же объединяться? Разве мы, эвенки, не братья друг другу? Наши предки завещали нам жить дружно, делиться добычей со всеми — вот наш закон. Или не правду я говорю?

— Верно говорит Майгунча, — зашумели люди. — У нас свои, правильные, законы!

— Век помогаем друг другу!

— Переводы, Кинкэ, хорошенько переводы мои слова. — Глаза Петрова заблестели, он поднял руку, прося тишины. — Вы говорите — все эвенки равны, все братья. И оленей у вас у всех поровну? Почему же, Майгунча, у тебя их тысячи, а у других совсем нет? Ты сидишь в нарядной одежде, как князь, а вон красивый мужчина Амарча Чемда стесняется даже подойти поближе, почему? Не будем говорить о равенстве. Ты и речь мою повернул туда, куда тебе выгодно. Но беднейшему населению тайги надо объединяться, чтобы никогда больше в ваших стойбищах, в тайге не умирали от голода люди! На промысел будете выдавать оленей охотникам столько, сколько требуется семье. Будем строить фабрики, а в них будут школы, больницы... Много ли силы в одном пальце? — Петров поднял руку и показал палец. — Но когда все пальцы сжимаются, получается крепкий кулак! Им можно громить врагов! Вот так же надо объединяться и для борьбы с невзгодами!..

Петров посмотрел на сидящих и, видимо не удовлетворившись своими словами, наклонился, поднял с земли веточку.

— Смотрите! Вот хрупкий прутик. Его легко можно переломить, но сложите вместе несколько прутьев, много прутьев — и твоей силы уже не хватит, чтобы сломать их! Вот и мы говорим: объединяйтесь в артели,

как объединились ваши братья по всей стране, стройте вместе новую жизнь!..

По поляне разнесся одобрительный гул. Неожиданно поднялся с места Амарча Чемда и подошел к столу.

— Правду говорит русский. Разве все мы одинаково живем? Придет зима — опять станем дрожать от холода и умирать с голода, болезни будут одолевать нас. Правильные слова говорит русский, они хотят нам добра. Вспомните последние покруты — разве так раньше торговали с нами купцы? Все радовались, что олени не смогли поднять те товары, которые выдали новые власти за ту же пушнину. И долгов никаких не стало. Их врачи сильнее шаманов! Они обуздали железных птиц! Я думаю, не надо нам Майгунчу слушать, ему хорошо говорить, — не объединяйтесь! — у него олень как мошки на болоте. Разве он сам их пасет? Разве не знаем, как они появились? Сколько он чужих оленей переклеймил? Нет, надо объединиться! Ставь, Кинкэ, мою тамгу!..

— Мою тоже рисуй!..

— Я хочу...

— Вот это дело! — обрадовался Петров. — Кинкэ, записывай всех желающих, а потом все вместе выработаем общее решение, права и обязанности артельщиков.

— А ты, Тыпу, сиди, у тебя нет ни одного оленя! Может, бабу свою отдашь? — закричал Мада на маленького мужичка, прибившегося к Кондогирам от вымершего рода Санягиров.

— Мадуча, артель создается ради таких бедняков, как Тыпу, как ты сам. Разве тайга и тундра гремят от топота твоих оленей? Майгунча всю жизнь топчет бедняцкую правду копытами своих оленей. Кто их пасет? Кто пастухами у него, покажитесь? Что, у вас столько же оленей, сколько у Майгунчи? — Кинкэ теперь взял слово.

— Сопляк! Старших вздумал учить! Когда это сопля мозгами назывались? — не выдержал Майгунча, зло сверкнув узкими щелками глаз. — Кондогиры никогда не занимали ума у чужих, вот и водились у нас веками олени. Нам чужого не надо!..

— Новый закон таков: кто пасет оленей, тот и хозяин! — сказал, как отрезал, Кинкэ.

— Гляньте-ка на хозяина, люди! Не твой ли отец клянчил важенок на расплод?

— Такого больше не будет!

— Увидим! — Майгунча отвернулся, давая понять, что разговор окончен.

— Я не все сказал, — продолжал Кинкэ. — Нынче летом сюда по воде приплывут русские рабочие. Будут строить факторию. Построят магазин, школу... К осени вы должны привести всех детей из тайги, будем учить их грамоте.

— Зачем всех-то? — удивились люди.

— Все должны учиться, это закон...

— А кто будет помогать нам пасти оленей, добывать пушнину?

— Сами справимся. Советская власть не хочет, чтобы мы вечно жили в темноте...

И здесь не получилось согласия. Учить детей многие были не против, но помощников лишаться не хотелось, потому и торговались.

— Отдадим девчонок, вот и учите...

— Ты, Кинкэ, одолеет грамоту, вот и сиди на фактории. Всех-то зачем учить?..

Долго еще сугланили, выслушивая разные доводы «за» и «против», но так и не пришли к единому мнению, решили ночью еще «поработать» головами, а утром снова собраться.

Но утром собраться не пришлось, и суглан продолжили только через несколько дней. Ночью в чум к Кинкэ и Петрову прибежали два пастуха. Это были безродные Тыпу и Чукчанча.

— Беда, начальник! Люди Майгунчи Большого угнали стадо! Они сговорились с Бирагирами. Вернулись с суглана, попили чаю, свернули чумы и ушли из Суринды. Увели всех оленей. В Путораны уходят, там говорят, нет и не будет новой власти. — Пастухи с надеждой смотрели на Кинкэ и Петрова. — Что делать? Без оленей-то пропадем...

* * *

Кондогиры и Бирагиры спешили. Майгунча Большой пообещал каждому пастуху-родственнику, что поделит оленей между людьми, незачем отдавать добро голытьбе. А своим не жалко, не чужой им Майгунча, кровью

связан с каждым из них. То же самое сделают и Бирагиры. Они преданы старым эвенкийским законам, не будут подлаживаться под новую жизнь.

Они уйдут в Путораны, может, даже перевалят хребты, что синеют вдали горбами лосей, но здесь не останутся. Жалко, конечно, жалко оставлять родовые земли, могилы предков, но времена такие настали, что надо решаться на этот шаг. Майгунча Большой давно уже все обдумал, тянул только, надеялся, что слухи останутся слухами, что старые порядки снова вернуться. Ведь больше десяти лет прошло с тех пор, как исчезли прежние торговцы и появились новые. Ничего плохого не скажешь про них, не обманщики, не суют в первую очередь бисер, зеркала, всякие ненужные безделушки, не спаивают вином, спиртом. Что верно, то верно. Однако кричат часто, что прикончат, мол, всех богатеев, отберут оленей и раздадут беднякам. Но слова покуда оставались словами... Все было по-прежнему. А теперь вот — все, начались перемены и в глухой тайге.

Но Майгунча тоже не прост, у него своя голова на плечах. Давненько он уже намекал родственникам, что оленей, дескать, разделить нужно. Пастухи верили, и каждый видел себя хозяином, пусть небольшого, но все-таки стада.

Пришло время сделать задуманное. Сначала нужно угнать оленей на Куту, а там в горы подняться...

...Спешили Кошдогиры и Бирагиры, меняли крепких ездовых быков; не разжигая костров, без горячего чая закусывали и опять гнали стадо. Надо поскорее выбраться из леса в тундру, на открытые места — в тундре легче бежать оленям. Если десятка два-три отобьется в тайге — не беда. Пусть останутся босякам! Но всех оленей — нет! — Майгунча не отдаст! Он найдет другие земли и будет жить там. Тыпу и Чукчанча, конечно, уже подняли на ноги всех, и голытьба, чего доброго, захочет силой отнять его богатство. От них можно ожидать и этого. И потому надо спешить. У Майгунчи все продумано: доберутся они до Куты, а там — рядом тундра, ходу всего две кочевки. Они повернут не в хребты, а обойдут их справа, Гиблые, страшные в тех землях места. Никогда не ступала там нога человека — там живут Злые Духи! Но что делать, придется на время потеснить этих Духов... А потом... потом можно не торо-

пьясь обследовать перевалы и уйти за хребты, на край света, где нет никакой Советской власти...

Хэ! Хорошо идут, милые!.. Сколько их, красавцев, у Майгунчи, и вправду — как мошкары на болоте. Лишь бы ягель найти! Пусть голозадые своими сугланами кормятся! Ишь Кинкэ-то, щенок, кусаться вздумал! Оленей ему подавай! Не-ет, не выйдет у вас ничего...

Кинкэ, Амарча и Куманда оседлали учугов, взяли сменных, на которых навьючили потакуи с хлебом, и направили свой небольшой караван по следу ушедших.

Четвертым должен был ехать Мада, но у него почему-то, как только узнал о предстоящей погоне, сразу скрутило живот. Он захохал, стал поносить свою Кедровку: вечно, мол, кормит какой-нибудь падалью, ждет не дождется мужниной смерти. Но люди-то знали: душа у Мады пугливее заячьей...

Решили догонять втроем. Петров и остальные мужчины отправятся утром.

И вот вторые сутки не слезают с ездовых оленей Кинкэ с друзьями. Меняют учугов, но с каждым поворотом широкой, торной дороги они идут все тяжелее и тяжелее, едва не спотыкаются на ровном месте. И сами погонщики еле держатся в седлах. Ходко же, ничего не скажешь, уходят от них беглецы! Не видно даже их бывших стоянок. Ведь не на крыльях железной птицы улетают они? Им же труднее: у них стадо оленей, груженные аргиши, старики, дети...

Попалось несколько отбившихся оленят, которые с хорканьем бегали, искали своих матерей; и ничего больше. Сильно, видно, спешат, хотят поскорее выбраться в тундру и затеряться там, среди сотен озер да болот.

Понукает посохом обессилевшего учуга Кинкэ, за ним тянется Амарча, а позади клюет носом Куманда. Его олени едва волочат ноги, ушлились вконец. Куманда кричит брату:

— Кинкэ, пусть отдохнут ездовые!..

— Нет, давай еще один поворот...

— Не могу, на ходу засыпаю...

— Держись!..

Солнце покатилося к закату. Надо бы отдохнуть, упасть вместе с оленями в мох да лежать.

И тут ветер донес до них... запах костра...

— Дым! — закричал Кинкэ и обрадовался: не разучился, значит, улавливать запах родной земли.

Приободрились и Амарча с Кумандой, прыгнули с ездových. Теперь можно и отдохнуть, размять ноги. Чуть в стороне от истоптанной стадом, чавкающей дороги нашли лыву с чистой прозрачной водой и освежили лица — прогнали соя. Посветлело в глазах, лучше стали просматриваться темнеющие вдаль леса. Проваливаясь чуть ли не до колен в топкой дороге, шатаясь от усталости, они повели оленей в поводу. «Догнать-то догнай, — думал Кинкэ. — Только разговор-то каким будет? Может, как в старину, возьмутся за ружья?»

Боязно троем выходить к чужим людям. Но, если разобраться, разве все они такие, как Майгунча? Нет. Да и коли пошли, надо идти до конца, не прятаться, как трусливым зайцам, в лесу.

«Ты много видел, Кинкэ... Ты книги читал, ты слушал умных людей... Ты знаешь, на что идешь и чего хочешь... Веди за собой, коли выбрал такую судьбу», — мысленно говорил он себе. А вслух подбадривал:

— Ничего, Куманда, Амарча, — оленей возьмем! Думаю, пастухи нас поддержат... Не все же на Майгунчу молятся...

— Едут! — раздался вдруг заплесканный крик.

— Погоня!

— Погоня! — эхом прокатилось по лесу.

Кинкэ усилием воли успокоил сердце, которое еще минуту назад билось подстреленной птицей, шагнул к кострам.

— Далеко ли путь держите? — спросил спокойно.

— Тайга велика...

— А чего же, как воры, бежите? Людей-то зачем бояться?

— Не твое дело, щенки! — вскричал Майгунча. — Указывать вздумал — где мне кочевать?

— Право твое, Майгунча, куда вести свой аргиш, но люди с оленями останутся в суриндинской тайге.

— С оленями? Ишь чего захотел! — Он выхватил из костра головешку, с силой швырнул в Кинкэ. Тот увернулся.

— Вы не эвенки! Вы — чангиты, разбойники!.. Люди, вяжите их, я покажу им оленей! — Майгунча бросился к дереву, возле которого стояла здоровенная пальма.

— Убива... а... ю... ют! — опять протяжно, испуганно закричала какая-то женщина.

На Кинкэ бросился сын Майгунчи, Потанча. Но Амарча успел подставить ему подножку, и тот шмякнулся на живот, словно лягушка. На Кинкэ и Куманду накинудись еще трое, свалили их с ног.

Амарча успел ухватить за шиворот подбежавшего к ним Потанчу и отбросить в сторону. Опять раздался пронзительно-дикий крик:

— Убива... а... ют!..

Амарча оглянулся: к нему с красными, налитыми злобой глазами, с пальмой в руках, бежал Майгунча. Амарча присел, нагнул голову и поднял для защиты руки. Страшный удар поверг его наземь... Все окрест вдруг померкло... Только едва уловимый запах багульника пахнул в лицо...

Амарча не видел, не слышал, как подскочили к Майгунче пастухи, повалили его на багульник и, отняв пальму, бросились помогать Кинкэ с Кумандой. Не хватало еще, чтобы дело дошло до войны!..

Амарча очнулся, узнав голос Кинкэ.

— Амарча, слышишь!.. Амарча!.. — тот звал его и тряс за плечо.

Амарча застонал, с трудом приподнялся и обхватил голову руками. Что-то мешало ему видеть людей, пахучую зелень. Кинкэ перевернул его на спину и... отшатнулся: глаза Амарчи были залиты кровью.

— Почему темно? Где солнце?.. — прошептал Амарча.

Но никто ему не ответил...

Так он получил свое второе имя — Бали.

— Эх-хэ! — вздыхает, ворочаясь на постели, бабушка Эки. — Да, не все просто в этой жизни.

В МЕСЯЦ ГЛУБОКОГО СНЕГА

Снова сыплет снег. Сколько дней он идет и идет. Белый-белый, мягкий, как пух; все деревья, кусты словно заячьим мехом оделись. Скоро начнет свои игры ветер, и тогда ноги деревьев до колен будут в снегу; уснут деревья до самой весны.

По снежной переневе попробовали размять свои но-

ги зайцы. Прыг... прыг... Остаются глубокие лунки, вязнут лапы в снегу, — не понравилось это косым, прыг назад, под колодину, и сидят там... И белка совсем разленилась, так, нехотя, прошла по мохнатым ветвям, проверила зимние гнезда и тоже — назад, в осеннее свое жилище, спать подалась. Глухари покуда не падают в этот пух — рано еще, тепло в тайге.

Теплая, затяжная осень стоит. Но по всем приметам в зимние месяцы Плеча¹ и Шага² морозы будут злее волков. Зябко станет душе, голодно животам, скучно глазам... Самые недобрые это месяцы в жизни тайги. Пока месяц Плеча поможет солнцу от земли оттолкнуться и начать свой разбег, пока в месяц Шага оно станет гнать свой аргиш в сторону Полуночной Земли, много горя и бед вытерпят люди.

Кружится белый снег...

Каждый день куропачий след бабушки Эки тянется в лес, туда, где она, Мада да еще несколько женщин и стариков латают старую изгородь. Подрубают топорами молоденькие лиственницы, сосенки, березки, а потом длинными шестами валят их перекрестно друг другу, сооружают завалы. Не изгородь — одно название; хорошему оленю, при желании, ничего не стоит перемахнуть через нее, но тем не менее хоть плохонькая преграда, но все же нужна. В этот загон будут отделять транспортных оленей.

Мокрая с головы до ног приходит бабушка вечером в чум, ворчит, мучается, сушит всю ночь унты, одежду, чулки, утром едва разминает их — и опять на работу. Тяжело, конечно, но ничего не поделаешь: надо.

Амарча с Воло осенью жили сказками. С куревом для дедушки Бали им повезло. Пожалел их Мирон, решил брать табачные листья, развешанные под крышей Госторга. Горлодер он, этот табак, но дедушка говорит, все же лучше, чем мох. Он кашляет от него, но курит. Не беда, мол. У стариков все не беда...

В иной день в чуме у дедушки набивалось много ребятшек, даже из интерната к нему приходили, но им то ли не сиделось на месте, то ли сказки не нравились... Чаще всего Амарча с Воло вдвоем таскали дрова с улицы, поддерживали огонь в очаге, унимали маленькую

¹ Месяц Плеча — январь.

² Месяц Шага — февраль.

Тымани и слушали сказки. В каких только землях, в каких морях не бывали они! Каких только подвигов не совершали! Сколько раз вместо дурачка Ивуля помогали людям!..

Завидев друзей, шагавших по тропинке к чуму слепого, старики частенько шутили:

— Хэ, да это, никак, глаза Бали топают?

— Сказками питаться идете?

— Да они табак деду несут...

— В табаке ли дело? — сказал однажды дядюшка Шилькичин и погладил ребят по головкам. Ласково, мягко погладил. У Шилькичина своих детей нет, все умерли, ни один не дожил и до года. В душе он горько страдал, что пусто, невесело в его чуме.

По дороге к Бали Воло обычно совал Амарче лепешку. В первый раз Амарча отказался — бабушка любила, когда ребятишки еду выпрашивали, но потом Воло убедил его, что нет в этом ничего плохого, — он-то ведь тоже у них ест.

Амарча с бабушкой с осени питались белками. От своей добычи Эки всегда откладывала в сторону несколько тушек, похожих на маленьких оскалившихся человечков, — это для дедушки Бали. У них некому было ходить в тайгу на охоту.

— Смотри, чтобы не отняли собаки, — наказывала бабушка, посылая внука отнести угощение.

Амарча срывался и, как дикий олень, во весь дух бежал к дедушке Бали, зная, что сейчас, горестно вздохнув, оживится слепой, перестанет ворчать Пэргичок, скажет: «О Добрый Дух, она опять не забыла нас... А то были б мои котлы чистыми и пустыми...» А котлы-то у нее черные, как уголь, это Амарча знает.

Люди говорят, что у Пэргичок, мол, руки разные. За много дел она сразу хватается, а толком ничего не умеет.

Летом Амарча приносил им ельчиков и окунишек, которых ловил в реке. Тогда дедушка улыбался:

— Тезка! Ты становишься настоящим мужчиной, меня уже стал кормить. Желудок мне говорит — удачливый кормилец растет!.. А от своего-то внука ничего не могу дожидаться. Ладно ли так, а? — Он поворачивался лицом к Палете.

— У меня крючков нет, — начинал оправдываться тот, швыряя носом, — Амарче хорошо, у него бабок

целых два турсука, вот он и выменял у Митьки крючок.

— Боюсь я, вырастешь ты, и вечно кривое ружье будет тебе доставаться.

Палета недоуменно смотрел на деда и опять шмыгал носом, молчал. Про его нос в стойбище даже загадку придумали:

— Палета, отгадай, у кого две мышки не сидят в своих норках: то выскакивают, то обратно заскакивают? Что это?

Ребята смеялись, а Палета, смутившись, ширкал рукавом по лицу, отчего щеки его начинали блестеть. И опять рождалась загадка:

— Отгадай, Палета, от кого можно жмуриться, как от солнца?

Палета на такие штучки особого внимания не обращает, ему, трава не расти, дай только поесть.

Увидев в дверях Амарчу с белками, Палета кидался к нему и кричал:

— Белки мои!

Еще ниже опускалась голова дедушки Бали, руки быстрее мяли камус — неловко ему за внука. Амарче становилось жалко дедушку. Эх, если б не он, давно бы поколотил Палету! Тот хоть и сильный, толстый, а трус. Ткнут его ребята, он сразу в слезы, жаловаться бежит, а мать, не разобравшись, кричит на «обидчиков»...

Жалко дедушку Бали. Бабушка говорит: жалеть надо людей. Жалость — не всегда унижение. Иной раз она и окрыляет человека. Все живое на земле надо жалеть... Чего, скажем, кидаться с палками на собак, зачем обижать их? Они без языка и возразить не могут. Только жалость может скрасить страдания и помочь собаке верой и правдой служить человеку.

Жалко и думаю Тымани. Она маленькая, и ей всегда хочется есть. Словами ее не насытишь, язык малышей признает только настоящую пищу. Когда в животе пусто, тут уж ни сказка, ни песня не помогают.

Однажды Пэргичок, видно, отчаявшись, качая Тымани, пела старинную колыбельную песню. Мурашки по спине бегали от этой песни, уши хотелось заткнуть. Вот она:

«Зачем ты родилась, дочь моя, зачем пришла ты на эту землю? Зачем?.. Твое тело не будет знать тепла ме-

хового одеяла, твой язык не будет знать вкуса мяса, твое лицо не будет знать улыбки, в твоих глазах будет вечно печаль!.. Зачем ты, Тымани, дочь моя, явилась на эту недобрую землю. Горе и слезы — вот наши песни! Зачем ты пришла в этот холодный, недобрый мир, зачем, дочь моя?»

Пела она тихо, смахивая с глаз слезинки. «Почему же дедушка не остановит ее, — думалось тогда Амарче. — Разве не стало у него языка, чтобы прикрикнуть, разве у него нет рук, чтобы заткнуть ей рот? Чего он склонился молча над камусом и трясет своей седой головой?»

— Видно, душа у него сдает, — сказала Эки. — Он не рассказывал вам легенду про Гарпанчу, бродящего во круг Икэндэй-горы?..

— Нет. Расскажи.

— Не умею я так, как Бали... Ну да ладно... Послушай...

...Трудно забраться на Икэндэй-гору. На нее только птица может взлететь. Но один дерзкий мальчишка по имени Гарпанча, у которого язык болтался, как на ветру тряпка, похвастал:

— Одним прыжком я достигну вершины!

Беда, колы слышат такие слова, не имея крыльев. При народе каждое слово — не пустой звук. Сказал — надо делать.

В период линьки птиц ходил Гарпанча по гнездовьям гусей, лебедей, журавлей и уток, собирал их опавшие перья. Хотел себе сделать крылья и, подобно птице, взлететь в небо, приземлиться на Икэндэй-горе. Но настала осень, улетели птицы, а он так и не сумел смастерить крылья. И тогда Добрый Дух пожалел его:

— Гарпанча, мальчик мой, — сказал он ему. — Не собирай опавшие перья. Раз птицы их бросили — значит, они ни на что не годны. Вырастешь, будешь иметь крепкое тело и пылкое сердце — это и будут твои крылья. А пока — держи перед собой Икэндэй-гору. Чуть сдашь душой — не бывать тебе на Икэндэе!..

— Нет, я сейчас хочу достигнуть его вершины! — возразил мальчик и снова пошел собирать перья...

...Пэргичок отбирала у сына белок и, отрезав от холка кусочки мякоти, насаживала их на рожны, обжа-

ривала на огне. Получался чукин — мясо с соком. Это лакомство давала она Тымани, которая мусолила его вместо соски. В такие минуты девочка меньше плакала, улыбалась, и личико ее, кругленькое, сияющее, становится похожим на солнце.

— О, Дылачакан! — светледа и сама Пэргичок.

Наверное, второе имя у Тымани будет Дылачакан — Солнышко! Ну и пусть! Лишь бы почаще она улыбалась, всем тогда веселее становится.

Но и у Амарчи бывали такие дни, за что и не любил он зиму, когда даже на голодный желудок ничего не хотелось есть.

От одного вида белок его тошнило. Ныли зубы, чесались десны — выть бы волком! Наступали, казалось, такие жуткие и оттого особенно длинные вечера, что не нужно было ни мяса, ни сказок. Бабушка, как могла, успокаивала внука, совала в рот кусочки сырого мяса и горестно рассуждала:

— Рано, сынок, к тебе болезнь привязалась. Зима-то только пришла... Катай на зубах... Катай, помогает. Вот будешь жить в интернате, там, говорят, картошку дают, лук, они тоже хорошо помогают. Надо к медичке сходить...

Горевал Амарча, прислушиваясь к словам бабушки. Ох, как хотелось ему в интернат: не ныли бы зубы, не мерз бы он в чуме. Учился, стал бы зрячим, как говорит бабушка, хотя он и так не слепой. Он научился бы переносить на бумагу мысли. Хорошо! А бабушка Эки пишет по-своему. Рисует свое родовое клеймо — солнышко и перекладчину посредине. Но этого сейчас мало. Надо понимать чужие мысли и передавать свои. И путей-дорог у грамотного — во все стороны света. Кроме Суринды, Бура, Куты и других стойбищ, есть где-то сказочный Ленинград, есть много-много других городов, стран и народов. Амарче всюду хочется побывать, все хочется посмотреть своими глазами.

Нюют зубы. Чешутся десны...

Пришел Воло. Но он Амарче сейчас не помощник. Что может он сделать, разве только отвлечь? Ну, хоть посочувствует, и то легче станет.

— Было бы лето, не болел бы, — говорит Воло.

Тут он прав. А когда оно снова придет, это лето? Когда его принесут с собой птицы? Где они теперь, эти небесные олени? Хэ! Летом пил бы березовый сок, на-

рвал бы дикого лука, накопал бы сараны, собрал бы ягод... От них не болят зубы! Но лето еще далеко, лучше о нем и не думать.

* * *

— Кынг!.. Кынг!.. — подали свой голос гугары — колокольчики на шеях оленей.

— Мэт!.. Мэт!.. — а это уже оленеводы кричат.

Первыми учуяли гостей собаки. Почти одновременно они вскочили, загавкали, потом дружной сворой бросились к лесу.

— Оленеводы приехали!..

— Пастухи оленей пригнали!..

Хорошая весть. Пастухам в стойбище всегда рады. С самого месяца Телят они не топтали троп в Суринду, их кочевья далеко отсюда — там, где высятся хребты Путорана, где простирается бескрайняя, не мерянная никем тундра, Великая Хэй.

Хэйкогиры — тундровые люди. Кто виноват, что лишения, голод, болезни от некогда могучего ствола тундровых людей оставили лишь голые тонкие веточки? Станут ли они листочками, дадут ли побеги? Амарча — маленький тлеющий уголек слабой надежды.

Некого Эки встречать из тундры. Были когда-то у Хэйкогиров олени, но они стали общими. А ум пастуха не переделался, не каждый может беречь общее, как свое. Может, оттого и тают артельные олени? Волки их поедают, от истощения они гибнут...

— Эх-хэ! — могла бы сказать людям Эки. — Не машите на оленя широко руками, берегите его! Олень для эвенка все: и ноги, и крылья, и теплая одежда, и вкусная пища. Берегите оленя!.. Не станет его — исчезнет народ. Что делать эвенкам в тайге без оленя, коли руки их ничему иному и не обучены?

Да кто будет слушать старуху — план, план давай! Нужно Суринде послать на извоз три сотни санок, даже стельных важенок запрягают — откуда же телятам-то быть? Разве не знает об этом председатель артели? Знает. Но придет из района бумага — куда денется, запряжет, а весной его же будут ругать за малый приплод. Хэ, как все непросто в жизни. Возишь продукты, товары разные — хорошо; телят поэтому мало родилось — плохо. Вот и крутись...

Амарча тоже выскочил бы взглянуть, кто приехал, кому и что привезли, но куда без штанов выскочишь? Бабушка Эки их латает. Хорошо, что Воло пришел, рассказал.

— Пастухи в лесу чумами стали, а сюда погостить приехали. Палета уже мясо жуёт.

Обсудив эту новость, Амарча с Воло игру затеяли: разговор птичек.

— Чичаку, пойдем купаться! — зовет Амарча.

— Утонем! — отзывается Воло.

— За водоросли поймаемся!

— Руки обрежем!

— Рукавицы наденем!

— Рукавицы промочим!

— Высушим!

— Пересохнут!

— Разомнем!

— Порвутся!

— Иглой зашьем!

— Игла затупится!

— Напильником наточим!

— Напильник где?

— В турсуке!

— Турсук где?

— В лабазе!

— Лабаз где?

— В лесу!

— Лес где?

— Огонь съел!

— Огонь где?

— Вода съела!

— Вода где?

— В море ушла!

— Море где?

— В Москве!..

Стоп!.. Тормози хореем!.. Неправду Воло сказал. Проиграл!..

Где-то далеко-далеко лежит сказочное Ламу — море Байкал, самое богатое море. В нем видимо-невидимо диковинных рыб и зверей. Оттуда, из-за Байкала, начали свое кочевье по тайге эвенки. В поисках счастья они кочевали. Но нет нигде этого счастья, и какое оно, счастье-то, тоже никто не знает. В море, конечно, все может быть, даже счастье, но там нет никакой Моск-

вы — иначе в памяти стариков сохранилось бы это название, в легендах бы о нем говорилось...

— Стой, стой, ты проиграл! — радуется Амарча. Игра эта бесконечная, но отвечать надо только правду. Соврал, значит, проиграл!

— Нет Москвы!

— Есть!

— Ачин!

— Бисин! — орет Воло, да так уверенно, что Амарча усомнился: может, промашка? Ведь иной раз Воло приносит странные новости, ну, вроде того, что земля круглая, как мячик, и к тому же вертится. Дурачок, кричал тогда Амарча, какая же она круглая, посмотри: всюду горы, хребты, болота, где же круглая-то? Дулбун! Потом Костака и Митька подтвердили его слова. Может, опять у брата узнал...

— Олень говорит, — начал другую игру Амарча и произнес по-русски: — Моя пошла в тайгу!

Воло вытаращил глаза:

— Он что, твой олень, девочка, чтобы так говорить?

— Как девочка? — не понял Амарча.

— Олень должен сказать: я пошел в тайгу!

— Сам скажи по-эвенкийски: я пошел в тайгу.

— Би сурум-агила, — говорит Воло.

— А девчонка как скажет?

— Би сурум агила...

— Видишь! Все одинаково! А ты, оленчик-девчонка! — торжествующе кричит Амарча.

Воло недоуменно моргает глазами, о чем-то думает, потом говорит:

— По-нашему девчонка скажет: я пошла, а мальчик — я пошел. У вас неправильно. Спорим?

— Это у вас неправильно!..

— Нет, у нас верно! А у вас...

— Огонь — люди? — Амарча тычет рукой в костер, перебивает Воло.

— Нет!

— Люди!

— Нет!

— Люди! Мы его кормим, он живой!

— Ну и что? Он же не человек.

— Люди! Звери, птицы — все люди!

— Ээ! Ну, чего потихоньку-то играть не можешь! — одергивает бабушка Амарчу. — Тут что — глухие?

Услышав голос бабушки Эки, поднял голову и повел ушами лежавший у входа Качикан. Он следил за каждым ее движением и тут оживился, облизнулся и снова уставился на хозяйку: что-то долго не дает она сваренную бурду. Сколько же может та остывать?

— Он что — не люди? — обиженно кивает Амарча на собаку.

— У русских все по-другому. По-разному жили, вот и понятия разные. Не ссорьтесь... — Бабушка успокаивает ребят. — Вы оба правы.

Игра расстроилась.

Бабушка подбросила дров в огонь, подняла голову к дымовому отверстию:

— Опять либгэ — мокрый снег. Вот в нашем языке мороз, снег, холод имеют десятки названий, и все потому, что мы с ними рядом живем, сроднились, можно сказать. А слова «школа» — у нас нет. Не учились мы раньше. Придет новое лето, поедете в интернат, там все узнаете...

Она зубами перекусывает жилую нить, вертит, осматривая, штанишки — нет ли еще дырок? — бросает их внуку, привычно ворча:

— Аккуратней бегай-то, везде сучья находишь! Все на тебе горит!..

Бабушка Эки давно пробудила у внука стыд. Понимать стал, а это уже хорошо. Удивляться умеет — тоже неплохо. Лишний раз поворчать на него не грех, у мальчонки вся жизнь впереди, глядишь, бабушкина наука и пригодится.

— Бакари-то прцвяжи, чего вечно вязки болтаются?

Ребятишки выскочили на волю.

Шубой горностая белел снег, пухлый и мягкий. Ступишь в него — провалишься, словно в перину. Когда еще мороз да ветер прижмут к земле этот пух? Стоит ли ждать? Может быть, самому утоптать снег поплотнее да покататься с горки на шурах, на лыжах, а то и просто так — на коленях?

Никого не видно, один Палета на горке топчется. Даже отсюда заметно — жует что-то; правда, наверно, оленеводы его угостили, или сам выпросил. Увидев ребят, Палета падает на живот и катится вниз. Парка у него до самых пяток, он в ней — как медвежонок.

Воло и Амарча тоже съехали вниз — один на коленках, другой на оленьей шкуре. Потом попробовали ка-

таться стоя. Резво понесли Воло чарки — только ветер свистит в ушах, — да не устоял он, полетел кувырком. Попытался и Амарча на ногах съехать, но подошвы его бакарей не скользят, он тоже нырнул головой в сугроб.

— Ха, неумехи! — закричал Палета.

— А ты? Ну-ка, попробуй!

И надо же — Палета, неуклюжий и толстый, не упал, удержался. И снизу победно помахал им рукой.

— А кто ближе всех подойдет к полынье? — разохотился он.

— Утонем, — нерешительно сказал Амарча.

— Труссы вы! С горы и то не можете съехать, — ехидно рассмеялся Палета.

— Давай! — согласился вдруг Воло. Обидно, что трусом назвали.

Взглянули на реку. Там, где летом была быстрина, сейчас лениво ворочалась темная густая вода.

Воло нашел палку и, постукивая ею как посохом, первым спустился на лед. За ним шел Амарча, последним — Палета. Воло двинулся к полынье.

— Даже не трещит, — сказал он.

— А вы боялись, — засмеялся опять Палета.

Воло и вовсе расхрабрился, начал приплясывать. Повеселел и Амарча: напрасны были его опасения. Но близко подходить к полынье все же опасно, глянешь — и то жутко становится, даже голова начинает кружиться. Будто что-то тяжелое плещется там, страшно вздыхает... А дна не видать... Хотели уже повернуть назад, вдруг Воло, как заяц, прыгнул на свежий снег, запетлял, посмотрел — вроде похоже на заячий след, прыгнул еще раз и... ухнулся в воду! Хорошо, что палка в руках, — легла поперек трещины, удержала мальчишку.

Амарча от испуга упал, потом, опомнившись, ухватился за палку, начал тянуть.

— Ма... ма! — кричал Воло.

— Мама! — вторил ему Амарча.

Но где же Палета? Амарча, заливаясь слезами, искал его взглядом, но не нашел. Где он? Может, тоже нырнул? Однако... постой... Что там у берега?.. Да это Палета бежит, струсил! Заячья душа, волчья нога!

— Палета!.. Эне... е... ё!.. Помогите!.. и... те!.. Воло, держись!..

В глазах Воло страх, он что-то кричит, плачет...

— Что случилось?! Добрый Дух, помоги!.. Не дай

детям уйти под лед! Добрый Дух! — С молитвой, со слезами с горки бежала Эки. Сам бог, видно, помог ей выйти из чума именно в тот момент, когда раздались крики.

— Хух! Хух! — задыхаясь, пыхтит она, продолжая молитву. В ужасе подскочила к ребятам, не помня себя, ухватила за рукав Воло, вытащила на крепкий лед. — Хух! — облегченно вздохнула и, взяв в охапку мокрого, обессиленного вконец Вою, сторожко пошла к берегу. На берегу бабушка опустилась прямо на снег, отдышалась. Ребята все еще плакали.

— Хватит реветь, не взяла вас вода! — приказала Эки. — Бегите в чум, покуда в ледышки не превратились.

Из дома выскочил дядя Мирон. Он тоже сломя голову бежал к реке. Увидев Эки, живых ребятшек, устало шлепнулся в снег. Напряжение спало. Он чуть успокоился.

— Марш домой!.. — прохрипел Мирон. — Ты у меня под замком будешь сидеть!

Воло заплакал еще громче, задрожал, испуганно уставился на отца.

— Спасибо тебе, Эки! Спасибо, что успела... — сказал Мирон.

— Ругай не надо... Парнюски попробай вада маленька, теперь знай вада. — Бабушка Эки с трудом подбирала русские слова.

Дома бабушка Эки, поостыв, похвалила внука:

— Кто знает, какой человек из Палеты вырастет... Жалко Бали, все еще надеется он... А ты — молодец, не испугался, не бросил друга... На реку больше не ходите, видите, как обманывает. Прикрыда маленькие польньи и ждет кого-нибудь, как вас, неразумных...

* * *

Амарча подрался с Палетой. Не подрался даже, а так, стукнул разок, тот заорал что есть мочи, словно ножом пырнули. На рев выскочила Пэргичок.

— Что случилось? Что он сделал тебе, сынок? А?..

Палета зажая рукой один глаз, заголосил еще пуше.

— Что он еделал? Глаз выбил? — Пэргичок отдира-ла руки Палеты от лица, а тот с ревом тыкался в подол ее широкой суконной юбки.

— У, варнак! — закричала Пэргичок. — Выучился у русских? Совсем лучатканом стал! Чему доброму они научить-то могут — драться да глаза вышибать?!

Услыхав крики, вышла из чума Эки.

— Что случилось?.. Кого зарезали, что ли?..

— Подожди!.. Твой внук скоро и резать начнет! Мало у нас безглазых, так Палету еще надо зренья лишить!..

— Ты зря, Пэргичок, шум поднимаешь. Дети есть дети. Сегодня дерутся — завтра опять вместе.

Палета замолчал, а мать не унималась.

— Вот дружба-то с русскими к чему привела. Вон, Митька Тириков никого не боится, такой же и Амарча будет. За что ты Палету ударил, а?

Амарча виновато понурился.

— За что? — спросила и бабушка.

— За то, что он убежал... когда Воло тонул...

— Но вы же не утонули! — снова набросилась на него Пэргичок. — Втроем-то скорее б на дно пошли! Ну, Палета испугался, с каждым могло такое случиться... Зачем же глаза выбивать?!

— Перестань языком трещать, как сорока! — крикнул из чума Бали. — Стидно слушать!..

— Помолчал бы! Твоего внука убьют, а ты и пальцем не шевельнешь! — отгрызнулась отцу Пэргичок.

Бабушка Эки молча подтолкнула Амарчу к своему чуму; иди, мол. Сама пошагала следом.

Палета осмелел, погрозил Амарче кулаком:

— Придешь к нам!

Но тут же получил оплеуху от матери:

— Молчи уж!..

Вот и пойми этих взрослых.

НИЖНИЕ ЛЮДИ ПОЗВАЛИ МАДУ

Несколько дней Воло не приходил к Амарче. Даже бабушка забеспокоилась:

— Может, и вправду отец его запер? Их ведь, русских-то, иной раз и не разберешь...

Как только дядюшка Мирон с пешней на плече, с маленькими охотничьими нарточками уходил осматривать свои уды на иалимов, Амарча крутился возле окон Госторга. Стекла замерзшие, но щелочки все-таки есть. Глазом прильнуть посильнее — что-нибудь да разгля-

дишь внутри. С другой стороны к окну прилипал Воло. Кашляя и хрипя, как отец, кричал:

— Болею я, не пускают!..

От окна Воло отгоняла мать, мол, еще больше простудится.

Амарча перестал таскать Митькину сумку. Ну его. Утром, после драки с Палетой, выбежал по тропинке Митька и издали закричал свою прибаутку:

— Тунгус, глаза узкие, нос плюский, совсем-совсем как русский, запрягайся!..

— Чего он один-то пойдет! Хватит, говорят, нынче лакеев нет! — сказал подошедший Костака.

— А тебе-то что? — почувяя недоброе Митька.

— Ничо!

— Ну и заткнись!

— Чо сказал? — пошел на него Костака.

— Ничо!

— Ну и тебе через плечо!.. Я уже объяснил: лакеи теперь не в ходу!..

Они, как петухи, почокались еще, но до драки дело не дошло. Митька отстал от Амарчи; и они ушли в школу.

Скучно Амарче одному, но подождать можно — не век же будет кашлять и болеть Воло.

В эти дни Амарча несколько раз, просто так, побывал на фактории. Заходил в контору артели — просторную, без всяких перегородок избушку, где стоял один стол, а в углу на железных ножках бочка, служившая печкой. Грелся около нее, слушая разговоры взрослых. Говорили, что к весне надо навозить сосновых бревен и начать строить дома. И первые избушки надо дать таким семьям, у которых не осталось мужчин-кормильцев, да старикам. Эту новость Амарча принес бабушке.

— Если б не война, давно бы жили в избушках, — сказала она. — В том доме, где сейчас учительница с медичкой Машей, жили твой отец Кийкэ и Мэми. Я тоже, бывало, ночевала у них. Зимой-то ничего, тепло, а летом — душно, сны плохие снятся... Тогда уже строить собирались, лес даже был заготовлен, а потом рук не стало, и в войну сожгли все.

Бегал Амарча смотреть коров — Черончин опять из-за них ругался. Нащипали им где-то травы, а сюда не привезли. Есть нечего стало, вот и плачут бедные коровы, ревут. Выпустили их из холодного амбара, переде-

данного под коровник, разбрелись они по берегу реки, обгладывают тальник, как зайцы. Зайцам-то это привычно, а им... Жалко коров. Они не олени, не умеют сами еду себе добывать. Молоко у них ничего, но жидкое, как вода. Оленье вкуснее: одной кружкой забелишь большой чайник, и то вкусно бывает... Зима еще только начинается, а в коровник уже не попасть: вход зарос кучами навоза, и коровы чуть не по колено в грязи стоят. Грязные сами, худые. Отморозят соски, тогда совсем плохо будет, да и Черончину из-за них попадет...

Из тайги приехал пастух Удыгир. Зашел в чум к бабушке Эки, простуженно кашлял. Бабушка налила ему чаю. Он шумно пил, отдуваясь и все время трогая руками черные, обмороженные щеки.

— Нацеловал мороз-то, а? — сказал Удыгир, подмигнув Амарче, а потом, посерьезнев, пожаловался: — Теленка одного не хватает. Два раза обошел изгородь. Следов в тайге нету, сюда, в стойбище ваше ушел и как провалился. Всех спрашивал — никто не видел. Не исшашлычили ли его?

— Кто знает, может, и до этого люди дошли. Есть-то нечего... Но ты, сынок, помолчи пока. Не говори Черончину-то, может, найдется еще, — попросила бабушка.

— Хорошо бы нашелся, а то знаешь, как сейчас за них спрашивают. В темный дом-то идти неохота.

Потом Амарча помогал бабушке огребать снегом чум. Утеилили на совесть, даже порог приподняли. Навалил еще снегу, и чум их будет похож на куропачий дом, весь в снегу — только дым расстилается по поверхности. Разожгли костер, жарко стало. Качикан уткнулся носом в лосиную шкуру — дверь — и не заметил, как подпалил себе хвост. Попало ему, выгнала его бабушка: так, говорит, он может совсем разбаловаться, пусть на улице спит.

И тут разнеслась еще одна новость, которая встревожила и опечалила всех, — старик Мада собрался к нижним людям, сам делает себе домовину, в которую должны будут его положить, провожая в землю.

— Хоть и никудышным охотником был, а все-таки жалко. Сердце-то у него неплохое. Болтал языком много лишнего, смешил всех, кричал, а без артели не мог жить. Жалко будет, если он и правда уйдет. Иди, Амарча, проведай его, — сказала бабушка.

Мада лежал на оленьей шкуре, рядом с костром, одной рукой держась за поясницу, второй — за грудь. Он не охал, не стонал, а, закатив глаза, замерев, прислушивался к себе. В последнее время боли случались у него частенько, но он не обращал на них внимания. А тут так хватануло поясницу — туловище вроде стало переламываться на две части; не выпрямиться, ни согнуться, ноги ходить отказались. И с сердцем что-то неладно. Никогда такого с ним не случалось. Здоровый был, не замечал сердца, словно его и не было. Теперь, когда рядом с ним, по словам Мады, поселился зверек-молния — горноста́й, он и услышал его, свое сердце.

Любая болезнь — головы ли, сердца ли, представлялась эвенкам в виде неведомого червячка, поселившегося внутри человека, но Мада почему-то решил: нет, не червячок у него, а именно горноста́й. Тесно стало в груди зверьку и сердцу — вот он и заболел. Время от времени зверек начинал шевелиться, старик крепче сжимал грудь, не давая ему переверачиваться, но тот, видимо недовольный, пускал в ход свои острые зубы. Кусал так, что Маду пронзало насквозь, как иглой. Он замирал, морщился, но не стонал. С каждым укусом казалось, что жила, держащая сердце, становилась все тоньше и тоньше.

«Время мое пришло, — равнодушно думал о себе Мада. — Уж коли горноста́й выбрал гнездо рядом с сердцем, он его выживет. Где же маленькому комочку устоять против такого зверька? Он лосей давит, а сердце... Видно, все, пора к нижним людям идти. Все старики уже там. Пожалуй, ни одного не осталось, кто мог бы сказать: «Я помню Маду привязанным к спине учуга». Похоже, мне недолго осталось...»

Мада вспомнил, как тяжело умирала его старуха. Уходила ее душа — и Онголик, сухая, измученная, лежала и бредила, никого не узнавая. Душа возвращалась — женщина приходила в себя, пила воду и даже разговаривала. Потом снова наступало беспамятство. Тяжело было смотреть, у Мады сердце изныло. Когда Онголик наконец умерла, он даже облегченно вздохнул, молча вышел на улицу, сел и стал курить. Не заплакал, нет, — ни к чему это, хоть и жалко было старуху, да слезами-то не поможешь, пусть Злой Дух думает, что ничего серьезного не случилось. Пусто и тоскливо было тогда на сердце у Мады...

Он сам рубил и тесал плахи для деревянного ящика, сам выбрал высокое место на берегу Суринды — своего родового кладбища у него не было; похоронил Онголик лицом к восходу — пусть по утрам оглядывает тайгу, где прошла ее кочевая жизнь. Вместе с нею он опустил в землю ложку, кружку, нож и ружье, а остальные ее личные вещи, распоров и продырявив, оставил рядом, на бугорке, развесил на ветвях деревьев. Старуха была неплохой хозяйкой и охотницей, «там» эти вещи ей тоже понадобятся.

«А меня по старинным обычаям и проводить-то некому, — горько думал старик. — Племянник пальцем не шевельнет; уйду к нижним людям — для него лишний повод напиться».

Горноста́й рядом с сердцем замер, но опять заняла поясница, Мада стал ощупывать спину.

Хлопнула мерзлая лосина-дверь. Вошла Маша, медичка, как ее называли.

— Чего, дедушка, скорчился-то? — нарочно весело заговорила она. — Я думала, на суглане опять будем «ёхорьё» танцевать, а ты лежишь...

— Спи́на, — простонал Мада. Про горноста́я решил не говорить: все равно не поймет. По сморщенному и напряженному лицу его Маша поняла: у деда что-то серьезное.

— Пойдем, дедушка, в больницу, осмотрю тебя. Тая, — обратилась она к жене племянника Мады, — помоги мне.

— Простудился он, — сказала Тая. — Сутки в снегу пролежал...

В медпункте Маша натерла мазью старику поясницу, сделала ему укол.

— Ничего, дедушка, плясать еще будем!..

— Хорошо бы. — Мада попытался улыбнуться, но получилась какая-то жалкая гримаса. Нравилась ему эта Маша. Не в пример учительнице Тамаре Дмитриевне, она быстро освоила эвенкийскую речь и не давала спуску никому из парней. Они побаивались ее. Бойкая девушка, Мада ей доверял.

Боль в пояснице и вправду утихла, замер и горноста́й. Мада уснул.

А проснувшись, поначалу не понял, где это он. Кругом бело. Раздвинул занавеску — вспомнил. Да он же в русском доме, в больнице! Потрогал поясницу, прило-

жил руку к сердцу — тихо. Стало быть, пора уходить. Он знал, что здесь иногда лежат подолгу, но он-то теперь ходить и сидеть может, чего же валяться. «Верно, лекарства русские силу имеют...»

Спустил на пол ноги и хотел уже надевать свои старенькие залатанные штаны, но вошла Маша.

— Пойду домой, — грустно сказал Мада.

— Нет, дедушка, я тебе не разрешаю. Полежи еще, потом посмотрим...

— Ланна, — обрадованно согласился Мада. — Ты, Маша, таблетка, икола давай. Икола хорошо...

— Обязательно уколы сделаю.

— Харги обманем?

— Обманем, дедушка!

Старичок с удовольствием растянулся на чистой постели. Огляделся еще — ах, как всюду бело, ни разу еще не приходилось спать в такой избе. И тепло... Но тут, как на грех, стал переворачиваться в груди горноста́й, сейчас укусит, — Мада обеими руками схватился за грудь, сморщился.

— Что, дедушка? — встревожилась Маша.

— Сердце...

— Вот это уже хуже. — Маша порылась в шкафчике, который стоял в углу, и подала ему таблетку. — Ешь. «Видно, не обмануть уж Харги, — горько подумал старик. — Не хочется уходить в Нижнюю землю, а придется...»

И вдруг он решил: надо самому собраться к нижним людям. Чего ждать-то? Горноста́й из груди никуда не уйдет, все больней и больней начинает кусаться. Пока не перекусил жилу, надо самому подготовиться. Все сделать, как надо.

Дня через два он ушел из медпункта — теперь лежать некогда, собираться нужно. Дел-то еще много...

Направился Мада к артельному амбару, возле которого летом мужики ширкали пилами бревна. Долго выбирал доски, откапывая их из-под снега, потом по одной, с отдыхом, таскал к чуму. Достал из короба для инструментов эвенкийский рубанок, молоток, извлек из тряпочки аккуратно завернутые драгоценные гвозди и, не откладывая, принялся за работу.

— Поможешь затащить на лабаз, — сказал он племяннику, выглянувшему из чума, — пусть лежит. Исчезну, меня в него положите.

Мада почти сколотил свой ящик, когда в стойбище вдруг забрежали собаки и бросились к лесу, а немного погодя оттуда выскочили несколько упряжек.

— Почта едет! — закричали ребяташки.

Захлопали двери конторы, школы, чумов, — все высыпали на улицу встречать гостей. Почта — один из долгожданных праздников. Всего три раза в году он бывает.

— Ганча Лантогир приехал! — снова закричали ребята и эту новость тут же понесли в чум Буркаик. Вот обрадуется старуха!

Около санок люди кому-то жали руки. В толпе видны были Мирон Фарков, Черончин, много женщин и ребятшек.

Потом народ расступился, и Мада увидел высокого незнакомого мужчину. «Полномоченный», — решил он. Может, тот и прошел бы мимо, кто знает, к кому он направлялся, но Мада встал со своего сиденья — чурки, и улыбаясь, двинулся ему навстречу. Здесь всегда и всем новым людям, даже незнакомым, жмут руки.

— Дорова! — Мада издали протянул руку. Шутить не хотелось, не стал говорить свое обычное: «Ты моя морда знаешь?» — что всегда смешило людей.

Незнакомец пожал протянутую руку и, кивнув на длинный ящик, спросил:

— А кто у вас умер?

Из толпы, следовавшей за ним, кто-то громко сказал:

— Да нет, это он себе делает.

— Да вы что? — Незнакомец удивленно взглянул на Мирона и Черончина. — Куда смотрите-то?

— Я его уже ругал, — высунулся вперед племянник.

«Полномоченный» повернулся к Маде, тот растерялся, но, собравшись с духом и показывая на грудь, тихо сказал:

— Горностай тут кусает... Нижние люди, однако, зовут...

— Ээ, друг! Пусть нижние люди еще подождут! Рано, амака, собрался! План тебе по соболям и белке дадим, с молодыми еще соревноваться будешь, а это, — он улыбнулся и перешел на эвенкийский язык: — Это надо ломай делать!

— Этта моя будет. — Мада не смог найти подходящего русского слова, и тот не дал ему договорить:

— Нет, дедушка, ломай, ломай сейчас же! Пойдем лучше в твой чум, угости меня чаем.— Он взял старичка под руку.— А вы,— кивнул на толпу,— разломайте!..

Незнакомец увел Маду, племянник топором стал разбивать дощину:

— Я же говорил, мозги у него закрутились...

Вышел Мада, посмотрел на разломанные доски, горестно вздохнул, послушал свое сердце и присел на чурку покурить. Нет, не сердился он на «полномоченного». Не положено, не принято у новых властей, чтобы человек сам себя в Нижний мир собирал. Однако и тоскливо стало оттого, что не дали довести до конца задуманное.

Быстро ступились еумерки — долог ли зимний день? В чуме никого не было, и Мада решил сходить в гости к Ганче — давно не виделись. Сколько же он отсидел? Три или четыре месяца? Говорили, что больше давали. «Э.— Мада махнул рукой.— Чего голову-то ломать; раз приехал, расскажет».

Открыл Мада дверь, а там — полно народу, сесть негде. Он опустился на землю прямо у входа, подобрал под себя ноги — приготовился слушать. Ганча — в чистой рубахе, подстриженный, какой-то неузнаваемый, но уже подвыпивший, сидел на почетном месте. Сегодня он долгожданный гость. Ему, видно, уже успели рассказать про длинный ящик, и он, увидев Маду, заговорил:

— Дома я давно бы зарытый был! Помните, у меня же всегда тут болело. — Он ткнул себя в правый бок. — Там, как привезли, пожаловался я доктору. Сказал: тут болит. Он заставил меня раздеться, что-то слушал, что-то стучал, потом мял долго и наконец сказал: грыжа! Надо операцию делать. Я испугался, операция — это ведь когда человека режут. Как быть? Боюсь, но лег. Тут уж меня совсем раздели, ну, думаю, все, смерть пришла. А как резать стали — не почувствовал даже! Усыпили, а как и чем, тоже не знаю, но когда проснулся, оказывается, все, уже зашитый! Диво! Теперь ничего не болит. Доктор говорил, еще бы маленько, и не спасли бы меня... Вот ведь — умеют же русские! Заболело, взял и вырезал... Дома-то я давно бы зарытым был,— повторил Ганча.

— А что ты там делал? — спросил Мада.

— Работал. — Ганча провел рукой по ежику на голове.

— Как работал? Там же, говорят, в железные коробки запирают?

Люди усмехнулись.

— Работают там. Я даже специальность приобрел — столяр. Мастерил стулья, столы... Теперь все могу сам делать, — похвастал Ганча.

— А я думал, там в ящиках железных сидят... — разочарованно признался Мада.

Опять поусмехались.

— Там работают. Деньги даже дают. Я хорошо жил, — начал объяснять Ганча. — У меня и койка своя была. Положено так. Белое белье, как в больнице. В баню раз в неделю водили, в кино... Вот кино — интересно!.. Повесят белое полотно, начинают крутить какую-то машинку, и — живые люди на этом полотне бегают. Конни скачут, деревья растут, речка течёт, дома стоят — все как в жизни. Видел, как стреляют и убивают... Про одного парня показывали кино, название почему-то непонятное было — «Как закалялась сталь», ну, по-нашему, как железо делать тугим, нековким.

— Хэ! — удивился громче всех Мада.

Кино никто, кроме русских, Черончина и Шилькичина, не видел.

— А кормили как? — опять спросил Мада.

— Наедался. Суп какой-нибудь давали, кашу... Мясо попадалось в супе, правда, коровье, твердое и сухое, как трава, но есть можно было. Компот пробовал, чай пил...

— Хэ, вот хорошо-то, — кивал в знак одобрения Мада. По лицу было видно, завидовал он Ганче, самому хотелось туда, в тюрьму-то. Выходит, зря людей темным домом пугают.

— А если тебе не нравится эта еда, — рассказывал дальше Ганча, — магазин есть... Пойдешь и возьмешь, что надо. Деньги у меня были. Там порядок, всегда тепло, даже по нужде в тепле ходишь... Это у нас холодина и грязь... Там, брат, порядок!..

— Хэ! — снова удивился Мада.

— Темный дом есть темный дом!.. Чего там не осталось-то? — неожиданно брякнул Митька Тириков и этим испортил весь разговор. Все повернулись к нему, зашумели:

— Сиди — знахарь!
— У, вечно тебя суют!..

Митька поднялся и выскочил на улицу.

Мада отряхнулся, словно что-то сбрасывая с плеч, привел свои мысли в порядок, подумал: «И верно, чего же он там не остался-то? Плетет, поди, а мы уши развесили. Интересно, однако... Чего только не бывает на свете. Иной раз чуть мурашки по спине не бегают от страха, когда про эти самые города рассказывают. Может, и не погибает Ганча... Насчет больницы, пожалуй, верно он говорит. Может, и мне надо что-нибудь вырезать? Но у меня вроде ничего лишнего внутри нету, а горностаи...»

Он вспомнил про горностаи, про длинный ящик, прислушался к сердцу — нет, все спокойно, не слышно зверька. Может, пока обойдется... Мада потрогал грудь и тут же отдернул руку — не надо его беспокоить, вдруг да зверек совсем уснул...

Мада прислушался к разговору — ничего интересного. Говорили про охоту, это он знает. Не стал больше вступать и вышел на улицу. У Ганчи теперь рассказов — на всю жизнь хватит, как же, белый свет повидал!..

Мада глянул на небо — узнать про завтрашнюю погоду. Вызвездило. Луна рукавицы надела. Ярко светился Хэглэн — Ковш Большой Медведицы. Звездные Охотники гнались за Звездным Сохатым, искрился их след — Млечный Путь. К морозу. «Неужто, Нижняя и Верхняя земли — вечные, а наша, Срединная — временная? — подумал он. — И человек здесь живет временно...»

Мада остановился и снова уставился в небо. Всю жизнь, считай, прожил, а такой красоты и не замечал. Вот это голубое небо — тайга Верхнего мира. Вот Хэглэн — Созвездие Большой Медведицы, вон Малая Медведица, множество сияющих Звезд, и все вечные. Сколько уже людей побывало в Срединном мире, и все видели, как наступает вечер, как Лосиха с Теленком выходит из голубой чащи пастись на хребты небесной тайги...

Заскрипел снег, и на тропинке показались два маленьких силуэта. Вблизи Мада узнал Амарчу и Воло.

— Куда вы?

— К Ганче, послушать, что он рассказывает.

Ребятишки побежали дальше, а Мада все стоял под звездами. Любовался небом. «Почему это я никогда не рассказывал сказки? Я ведь тоже знаю... Почему бы не рассказать ребятам легенду о Созвездии Большой Медведицы?»

Дед Мады, помнится, рассказывал так...

Однажды трое охотников — эвенк, кет и русский, поспорили: кто из них самый ловкий и самый удачливый. Долго спорили, но не сумели убедить друг друга словами. Решили доказать на деле. Пошли в лес на охоту и увидели лосиху с теленком, погнались по снегу. Кто первый догонит и убьет зверя — тот и лучший охотник, решили они. Но лось-то оказался не простой, а Бугады — Священный, догнать его было не просто. Лосиха с теленком и трое охотников на лыжах пробежали всю Среднюю землю и очутились в Угу Буга — Верхнем мире. Попав туда, звери и люди превратились в звезды: впереди четыре звезды ковша Большой Медведицы — это Лосиха, а позади три звезды — это Охотники: первый неутомимый охотник эвенк, за ним тяжелый и неуклюжий — кет, а в хвосте — неопытный в таежных делах великан — русский. Только превратившись в звезды, охотники смогли решить спор: эвенк догнал лосиху и, убив ее, возвратил земле день. Созвездие Малой Медведицы — это убегающий от матери лосенок. На следующую ночь, оставшийся в живых, он стал большой лосихой, вышел со своим потомством из чащи на редколесные хребты небесной земли, и охота началась сызнова. И так будет вечно...

Надо рассказать ребятишкам — глядишь, может, и они, когда вырастут, передадут потомкам и его, Мады, сказку...

Мада кашлянул и хотел было своей привычной походкой, вперевадку, будто перешагивая через большие коряжины, двинуться к чуму, как вдруг замер на месте, схватился за грудь, и... звезды замигали в глазах. Горностай проснулся и неожиданно, словно острым ножом, полоснул по сердцу своими зубами...

..Старика нашли на дороге. Лежит, скорчился, точно что-то обнял. Взгляд его устремлен в небо.

— Как же так? Он ведь только что сидел в чуме и удивлялся, — недоумевали люди.

— Легко ушел.

— Выходит, напрасно разломали его домовину.

Амарча спрашивал у бабушки:

— Откуда Мада знал, что ему надо уходить к нижним людям?

— Старики это знают, — отвечала она. — Не ошибаются.

А знала ли сама бабушка Эки, что и ей скоро предстоит переселиться в Нижнюю землю? Может, знала... молчала только?..

ПУСТЬ ДОБРЫМ БУДЕТ УТРО

— Ты что, забыл дорогу к дедушке Бали? — спросила Эки и повторила: — Забыл?

— Нет.

После драки Амарча ни разу не бывал в их чуме. Неудобно себя чувствовал, да и Палета мог расплатиться, дома-то он смелый.

— А что так? Может, ему чем помочь надо. У него же все время ночь. Вон сколько новостей-то, передашь ему — все светлее старику станет. Он тебе новую сказку расскажет. Сбегай, заодно рябчика отнеси, пусть хоть маленький шашлык сделает...

Амарча поднялся. Скучно и ему без дедушки Бали, но не хотелось слышать от него осуждающих слов за то, что ударил он Палету.

Откинул Амарча обледенелую ровдужную шкуру соседского чума, нырнул в темный прогал, — все оказались дома. Пэргичок расчесывала трехзубой костяной гребенкой болотную траву на стельки. Тымани спала. К удивлению, дедушка Бали сидел без дела, задумавшись. Никто не обратил внимания на Амарчу, лишь Палета оживился:

— Ага, пришел!..

— Ча! Сиди! — сердито прикрикнул на него дед. Палета замер, с надеждой поглядывая на мать. Но та молча продолжала расчесывать траву. Удивился Амарча, никогда не видел дедушку таким сердитым. Может, какая беда стряслась? Нет, вроде не слышно было. Пэргичок давно бы кричала.

— Бабушка вам рябчика послала. Сделайте шашлык, — заторопился Амарча и подал птицу Пэргичок. Та не спешила брать угощение. «Странно», — опять удивился Амарча.

— Спасибо, тезка, — поднимая голову, сказал де-

душка Бали. — Сегодня наши желудки сыты! Можем даже сами дать вам ниматчину. Что же, дочь, не дашь для Эки немного? Угостить надо... Она-то нам вон как помогает...

— И дам! — Пэргичок отбросила в сторону траву, вскочила и перешла на другую сторону очага, там откинула ветки и... вытащила какие-то ребра.

— Амарча, отнеси домой. Только будь умницей, никому не говори... Бабушка тебе вкусный суп сварит, на, беги. — Она сунула в руки Амарчи тряпичный сверток, куда завернула мясо, и, повернув его к двери, насильно выпроводила на улицу, говоря отцу: — Ты думаешь, Эки кому скажет? Она не такая, поймет и попусту болтать не будет...

Что-то неладное почудилось Амарче. Уж не тот ли теленок в свертке, которого искал Удыгр? Зачем это она сделала, ведь ее могут посадить в темный дом?..

— Мясо дали, — тихо проговорил Амарча, вернувшись домой.

— Мясо? Какое мясо? — удивилась бабушка. — Кто дал?

— Пэргичок...

— Неси обратно! Скажи: не надо нам такого мяса, у нас белки есть, рябчики... Неси! — и тоже силком стала выпроваживать внука. Амарча чуть не заплакал, обидно — он-то чем виноват...

— Не плачь, а мясо неси!

У Амарчи брызнули слезы — ни за что обидела бабушка, самый добрый, самый родной человек.

— Неси! — уже сердито приказала она.

Плача, Амарча пошел обратно к чуму дедушки Бали. «Что-то темнят взрослые, а на меня кричат, — думал он. — Взять бы да бросить это мясо собакам».

— Ча! — Амарча пнул принюхивавшегося к свертку Амикана и зашел в чум.

— Бабушка не берет... Обратно послала, — со слезами на глазах он протянул сверток. Пэргичок только взглянула и отвернулась.

— Сынок, не плачь! Найди мой посох. Я пойду с тобой! — начал собираться Бали. — Проводи меня.

Амарча стоял, прижавшись к стоячку-чимке.

— Перестань обнимать чимку! Брось, чего держишь перед глазами! — закричала Пэргичок.

— Не кричи на Амарчу! Лучше Палетой займись!..

Амарча — человек, а из нашего еще неизвестно, что выйдет!..

— Иди! Иди, слепота! Рассказывай всем! Иди к своей Эки, можешь не возвращаться! — кричала Пэргичок. — Тебе чужие дороже родных внуков!..

Амарча вывел Бали из чума, и они тронулись по протоптанной дорожке друг за другом.

— Эки, — заговорил дедушка Бали, усевшись на шкуре. — Не осуждай меня. Мне умереть легче. Был с глазами — и я кормил людей. Теперь забыл, как держат ружье... К голодной Тымани не могу привыкнуть. Сердце обливается кровью, когда она плачет и просит есть, а дать нечего — руки пустые. Иной раз и вправду думается: зачем ей нужно было появляться на свет в такое время. Жил надеждой — может, из внука что выйдет. Теперь вижу, вряд ли дожусь. Что мне делать, Эки? Мне надо в землю уйти... Твои сыновья ушли туда молодыми, а я задержался... А как уйдешь, коли еще не зовут?..

Опустилась от таких слов голова у бабушки. Может, она несправедлива к людям? Разве не видит, что все еле-еле сводят концы с концами? Может, надо было взять это мясо и не обижать Пэргичок? Да... нынче как в прежние времена стало... У всех одно горе да заботы... Когда же жизнь-то наладится?..

Бабушка Эки делает вид, что поправляет платок, а сама незаметно смахивает слезинки. Надо, чтобы внук не заметил, что и у нее опустились крылья.

— Держаться нужно, Амарча. — Бабушка Эки называет его настоящим именем. — Придут еще сытые времена, придут. У меня тоже надежда — внук. Поднять бы его на ноги, а потом можно и уйти вслед за сынами. Креплюсь...

— Тебе, Эки, надо крепиться. Амарча будет настоящим человеком, — немного успокоившись, говорит дедушка Бали. — Если мы доживем до тех дней, когда он оперится, хэ, это будет надежный кусок хлеба! Амарча, тезка, надеюсь, и меня, седенького старичка, не обойдешь ниматом, а?

Амарча облегченно вздыхает — хорошо, что кончился этот тяжелый разговор, — смущенно мнется. Бали не видит этого и опять переспрашивает:

— Будет мне кусочек хлеба?

— Будет, амака!

Но не дождалась обещанного кусочка хлеба ни бабушка Эки, ни Бали. Не виноват в этом маленький Амарча. Никто не виноват, что вторая послевоенная зима была такой суровой и такой голодной в затерявшейся в бескрайней тайге Суринде. Жизнь за собою не признает вины...

Лишний кусочек хлеба, лишний кусочек мяса приберегала Эки для внука. Это, наверно, и подкосило ее.

Ударили сильные морозы; повисли мохнатые льдинки в туманном воздухе. В тайге — тишина, ни одна веточка не шелохнется, ни одного звука не слышно. Крепко-крепко уснула земля. Куропатки, глухари нырнули под снег, бедки попрятались в гнезда — ни одна живая душа не шатается на морозе без дела. Лишь иногда по ночам раздастся треск умирающего дерева, напугает зайчишку, припустит он что есть духу со своего насиженного места под коряжиной, всполошит собратьев, и начинают они метаться по тропам, по полянам — греются. Набегаются вдоволь и к утру снова возвращаются к своим убежищам: прыг под колодину или в сугроб, и — словно их и не было.

В такие дни людей спасает только жаркий костер. Подставляй руки к огню, переворачивайся боками — грейся, огонь не даст в обиду.

Пошла бабушка Эки осматривать петли и пасти, поставленные на зайцев, да, видно, не рассчитала силы.

До самой темноты в тот день Амарча держал огонь живым, то и дело подбрасывая дрова. Весело, бойко разговаривал огонь, а когда дрова кончились, замолчал, изошел дымом. Тут сразу же дал знать о себе мороз — полез под маленькую парку, кусается; руки начало сводить. Амарча укрылся меховым одеялом, надыхал там, вроде теплее стало. Подожду маму, решил он. Сколько так лежал — не помнит, потому как дремал. Может, этого времени хватило бы на одну трубку, а может — на десять, но, наверно, прошло все же несколько часов. Мороз пощипывал все сильнее. Амарча ворочался, крутился, поджав под себя ноги. В голову лезли тревожные мысли: «Где же бабушка, почему ее нет? Неужели она наловила столько зайцев, что не может донести одна? Можно ведь оставить половину, а завтра сходить за ними? А может, она в темноте потеряла тропинку и ни-

как не выберется из лесу?.. Да нет, бабушка и с закрытыми глазами найдет дорогу домой. Где же она?»

Сколько мог, столько и крепился Амарча. Но холод и тревоги одолели его, и он стал потихоньку хныкать.

— Мама, мама! — подвывал он. И ему было легче.

Послышался лай Качикана. Бабушка Эки, мама, пришла!.. Амарча сразу же забыл о слезах, сбросил одеяло и выскочил на мороз. Кругом темнота, хоть глаз коли. Едва разглядел Качикана.

— Качи! — радостно позвал он.

Собака завyla.

— Качи! — Пойдем в чум!

Качикан покрутился возле его ног и снова исчез в темноте.

— Качи! Качи!

Собака опять горько завyla, словно кто обидел ее, и, подбежав к Амарче, постояв немного, скрылась.

Амарча замерз, дрожит весь. Хотел было зайти обратно в чум, но смутная догадка остановила его: «С бабушкой беда! Качикан на помощь зовет!»

— Качи!

Вой раздался уже у самого леса.

«Беда! Бабушка не может вернуться, что-то случилось!» Амарча закричал, заплакал и тоже, не помня себя, побежал к лесу...

Никто не знает — ни тетя Наташа, ни дядюшка Мирон, почему Воло в такой мороз вышел на улицу по нужде. Вышел и — не увидел летящих из чума искр, потом услышал чей-то плач и вой собаки.

Вся семья Мирона Фаркова бежала в темноте по лесу, теряя дорогу, проваливаясь в снег, крича и зовя Амарчу. Они нашли его, когда тот уже лежал, свернувшись калачиком, возле колодины. Руки-ноги не гнулись, горло хрипело — он не мог даже плакать.

Бабушку Эки обнаружили только утром. Скорчившись, она сидела на тропе, за спиной — пенька с двумя зайчишками, рядом — посох и чуть в стороне — сухостойна. Ее бабушка несла для костра.

— Хэ! Эки, Эки... — сказал дедушка Бали. — Ушла как ездовой олень. Запалила свое сердце, оно и не выдержало, разорвалось на ходу. Хэ, горе-то!.. Пусто будет Амарче без тебя. Жаль мужичка... не окрепли покуда крылышки, не встал он еще на ноги...

Амарча обморозил руки, щеки и уши. Их намазали

жиром, руки замотали тряпочками, а щеки и уши оставили так. Они почернеют, обрастут коростами, а потом коросты отвалятся. Это небольшая беда. Но как зарастить коростам на сердце?

Бабушку Эки стали готовить в «дорогу». Грудь и живот обмыли горячей водой, нарядили в приготовленную заранее «походную» одежду, не застегивая пуговиц и не завязывая ремешков, — так легче и свободнее улетать душе. На дно длинного ящика лег кумалан¹, а на него — покойница. В изголовье положили шкатулку для иголок и наперстков, рядом — кремневку, провиант для охоты, посох, огниво, кисет с трубкой, скребки для обработки шкур. Полный стал ящик — все умела делать бабушка Эки, «там» ей все это пригодится.

Принесли раскаленную сковороду, бросили туда кусочек жира, они затрещали, задымилась. Этим дымом окурили уходящую к нижним людям — пусть «там» понюхают и узнают, что здесь, в Среднем мире, люди живут сытно, с едой.

Все было сделано как полагалось, когда человека провожают в последний путь. До ямы, вырытой рядом с холмиком Кюлокана, несли бабушку женские руки. Так положено. Опустили длинный ящик в яму, полетели туда мерзлые комья земли, и тут весь ритуал прощания нарушил Качикан.

Видели его, тащившегося вместе со всеми, забегавшего вперед, лаявшего на женщин, несущих домовину, но не обращали внимания. Чаще, горестно и жалостно вздыхая, посматривали на Амарчу, до конца не осознавшего всего, что происходит. Но когда посыпались в яму комья земли, Качикан зарычал, прыгнул туда и залился хриплым лаем. Хэ, что тут началось! Шарахнулись все в разные стороны, женщины заголосили:

— Не хочет отпускать бабушку Эки!..

— Кого-то она здесь забыла!.. Ээ... э!

Испуганно остановились мужчины, побросали лопаты и отошли от ямы. Такого еще не бывало: Может, собака права, ведь она тоже что-то соображает... Все знали умение бабушки Эки выбирать щенков, может, она была связана с ними какой-то тайной связью? А может, дело тут в Духах ее дочери-шаманки?

Наконец Егор Тириков спрыгнул в яму, вытолкнул

¹ К у м а л а н — коврик из выделанной оленьей шкуры.

оттуда визжавшего, упиравшегося Качикана, потом они с Фарковым вдвоем засыпали могилу землей...

«Зачем так уходит Эки? Она же добрая. И не мы ли молили, чтобы ее душа с Верхнего мира поскорее вернулась назад в сердце нового человека?» — недоумевали люди.

Побоялись они повесить на крест распоротую парку, побоялись положить на свежий холмик продырявленные котелки, чайник, кружки, все оставили рядом с лиственницей, побросали. Забыли и уйти как положено — пятясь задом, заметая следы снегом, ушли, унося в сердцах страх. Каждый думал: не его ли она забыла прихватить с собою в «ту» дорогу...

Вечером Амарчу стало знобить. Дедушка Бали давал ему горячего чая, укрывал одеялом, парками, но это не помогало, мальчик метался в жару.

«Ладно, ли с тобой, мужичок?» — забеспокоился Бали.

Печальной была эта ночь. Из головы дедушки Бали не выходили тревожные мысли: не решила ли Эки забрать с собою Амарчу? Он был ее единственной надеждой, не хватило сил довести до конца свои земные заботы, вот и хочет его взять с собой, чего ему мучиться-то? Нет, Амарча должен жить! У него, слепого старика, еще есть дела и заботы: кому камус выделывать, кому шкуру... с внучкой он нянчится... Да мало ли дел на этом свете? Теперь надо взять на себя еще одно — выполнить мечту Эки — отправить в интернат Амарчу, не оставлять его здесь, на фактории. Узнает Сынок, сразу же примчится, ей нужен кормилец на старости лет. А Сарта с Ургунчей — те не помощники, надежда на них слабая. В интернат здесь не возьмут, мал еще Амарча, значит, надо отправить его в Нербоко. Там, говорят, есть дом для детей-сирот...

Всю ночь сидел дедушка Бали, поддерживая огонь и прислушиваясь к дыханию и воплям мальчишки. Свет от костра тускло освещал его согбенную фигуру, отбрасывая тень на старые, обветшавшие покрытия чума — так и не успела Эки обновить корьё.

Забрезжил морозный, серый рассвет. Но небо было чистым и гладким, без морщин. Что сулило это новое утро старику Бали и Амарче?

Послышались легкие, скрипучие шажки: скрип, скрип, скрип, так бегал Воло. Дедушка Бали разогнул-

ся, облетченно вздохнул. Наконец-то. Он его ждал.
— Воло, мужичок, тепло ли одет ты?.. На фабрику мы пойдем... Я хочу, чтобы с сегодняшнего дня для твоего друга Амарчи началась новая жизнь. Помолимся Добрым Духам, чтобы они помогли нам. Пусть это утро будет добрым для Амарчи, для тебя, Воло, для всех нас!.. Пусть солнце и тепло вернутся на нашу землю и сытая, счастливая жизнь придет в наши чумы!.. Пойдем, Воло, в Кочевой Совет, к людям пойдем...

Дедушка Бали растормошил Амарчу, помог одеться и взял его на руки.

— Веди, Воло...

Они вышли на морозный воздух и вскоре растворились в нем, как в молоке.

* * *

Выплыли те фигурки из морозного тумана, как тени, на тропинке, ведущей к фабрике, и не сдержалось, вздрогнуло мое сердце...

Никто не виноват, что та зима была такая жестокая, такая голодная в затерявшейся в безбрежной тайге Суринде. Росли холмики могил, и от них наша древняя земля становилась еще родней и дороже.

Прощай, мой мальчик! Прощай, Амарча!.. Увезут тебя из Суринды в большую жизнь, как хотела Эки; увезут раньше, чем к нашей Полночной Земле начнет свою новую кочевку Солнце, раньше, чем вернутся гаги и карави... Вся наша огромная, необъятная страна, хоть у нее тысячи и тысячи других больших и малых забот, не забудет тебя, вырастит, обучит грамоте...

По каким дорогам придется тебе шагать, Амарча?.. Не растеряй, мой мальчик, на тех дорогах свои первые тропинки, лица людей, что учили тебя добру... Возьми их с собою! Пусть в твоём сердце вечно пылают наши кочевые костры, пусть в твоём сердце стучат копыта оленей, пусть вечно звенят в душе наши печальные песни, пусть... Пусть звучат слова твоей бабушки: «Вырастешь большой, будешь иметь крепкое тело, хороший ум и пылкое сердце — это и будут твои крылья. И держи перед собою Икэндэй-гору. Чуть сдашь душой — не бывать тебе на Икэндэе!»

Прижмись, мальчик мой, к дедушке Бали, крепче прижмись! Ему недолго осталось согреть тебя вот

так, как сейчас. Придет конец и его тропе, уйдет в землю и он. Пусть же вечно в твоём сердце живут его сказки, пусть плачут и призывно трубят лебеди и журавли — наши небесные олени! Они научат тебя любить людей и нашу морозную землю, любить до боли, до слез...

Воло, и к тебе моя речь: не затеряйся и ты. Страна наша огромна, без конца и без края. Держитесь рядом, может, еще не раз вам придется опираться на плечи друг друга.

Раньше считалось, что у нас не бывает сирот. Кто-нибудь из близких или из дальних родственников всегда брал на воспитание таких, как ты, Амарча. Но доля их ох как была горька! Не было слова горше, чем — сирота! Оно всегда было родней обугленной головешки. Нелегко будет и тебе, Амарча...

Прощай, мальчик мой!..

Мне часто видится одна и та же картина, снится все тот же сон: ты стоишь в темноте и кричишь:

— Небесные олени, вернитесь!..

Я уверен — они вернутся к тебе, Амарча...

СОЛНЕЧНАЯ НЕВЕСТКА

Это было, в пятидесятые годы, кажется, что давным-давно...

Наступал период Хугдарпи, по древнему эвенкийскому календарю — Время Глубокого Снега и Начало Больших Холодов. Недобрым было оно всегда на земле эвенков. Крепким, беспробудным сном уснули тайга и тундра. Присели, укутались снегом ели и лиственницы; застыли немо, безжизненно голые деревья в лесу. В воздухе повисли мохнатые хрустальные льдинки; кругом белый туман. И — ни единого звука, ни дуновения.

Зверьки и птицы попрятались в норы и гнезда, зарылись в снег. Лоси забрались в самые густые чащи и стоят, замерев, закуржавевшие, боясь нарушить эту мертвую тишину. Олени сбились в плотные кучки, прижались друг к другу и дышат под себя. Так им теплее.

Лишь иногда в лунную ночь откуда-то издалека донесется тоскливая, щемящая душу волчья песня: «Уу-у-у!.. У-у-уу!» Жалобная, горькая песня, невольно мурашки ползут по коже. Не от хорошей жизни она, да, впрочем, не зря сказано — голод не тетка, не то еще запоешь!.. В другой раз, гремя сосульками, как гирляндами, и заставляя дрожать всю окрестную тайгу, ломится через лес сам хозяин-шатун — так ведь тоже, бедняга, по нужде бродит, тоже одна забота: чего бы поесть. И — снова все мертво окрест.

В такую пору раньше люди отсиживались в чумах, грелись у очага. Только жаркий костер мог спасти кочевника, сиди и подставляй бока этому живительному огню. В эту пору съедались начисто скудные припасы мяса, рыбы, муки.

Нет, ни одно живое существо на земле не любило это время. А обманул морозы — значит, рано еще отправляться в Нижний мир к предкам. Значит, есть еще силы, живи и делай добро тем, кто в этом нуждается.

И зачем в такое безжизненное, мертвое время гнать куда-то оленей? Ведь запалишь их внутренности, и потом, к весне, не жильцы они будут на этом свете. Не

обрадует их уже ни солнышко ясное, ни зелень сочная. Будут утробно кашлять, содрогаясь всем телом, и в конце концов упадут где-нибудь между кочками и не поднимутся больше.

Непонятными были маленько приехавшие в стойбище люди, решившие строить новую жизнь. Срубили они на факториях избушки, а потом — мороз не мороз, темнота не темнота, запрягай, друг, нарты, вези грузы, почту, уполномоченных разных!..

И зачем, для чего нужно было испытывать Хугдарни — Время Глубокого Снега и Больших Холодов?

* * *

В просторной колхозной конторе — рубленной топором избе, без всяких перегородок, со щелястым истоптанным полом — и в будни-то редко закрывалась дверь, а тут, по случаю отъезда народного судьи района Ани Комбагир, милиционера Николая Чиркова, и бывшего продавца Ванчо Удыгира, считай, сбежалась вся фактория от мала до велика. Что делать дома, и так уж насиделись досыта, чего же не посмотреть, как они будут собираться в дорогу?

Дверь конторы, вся закуржавевшая, с улицы обитая, твердой сохатиной шкурой, не знала и минуты покоя — скрипела и скрипела, да так нудно, что председатель колхоза Ануфрий Эмидак морщился, как от зубной боли. Распахивалась дверь, и в избу врывались клубы морозного тумана, а уж потом вырисовывались темные приземистые, похожие на росомашьи, фигурки, слышались кашель, кряхтенье, собачьи визги.

— Суглан, что ли, сегодня? — на правах хозяина, оглядев вошедших, недовольно ворчал председатель. — Чего вам тут надо?

— Улицу-то, паря, не отопишь! — добавлял бухгалтер Алексей Зарубин, поживаясь в своей телогрейке. — Народное добро в трубу летит!..

В правом углу чернела пузатая бочка из-под керосина, потрескивая и шипя мерзлыми листовенничными дровами. Она служила печкой. И, чтобы на ней могли усаживаться чайник с ведром, сверху бочка была приплюснута обухом топора, а кругом обложена серыми речными камнями так, что приезжим всегда казалось: лежит свинья с поросятами. «Свинья в закутке!» — называл

эту печку Зарубин. Но это веселое сравнение здесь, на фактории, оставалось не оцененным — никто из эвенков не видел живой свиньи.

Около окна, слепо смотрящего на улицу, сплошь обмерзшего снегом и льдом, дышащего холодом, было пустое место — стол укочевал ближе к печке. Он утопал в ворохе парок и бакарей, которые должна была примерить Аня. Ее одежду забрковала Мария Эмидак, жена председателя колхоза, в девках бывшая Комбагир и теперь, на правах близкой родни, помогавшая собираться в дорогу. Осмотрев парку и бакари, в которых приехала Аня, Мария отбросила их в сторону, говоря, что у них пообтерлась шерсть, в морозы нельзя в такой одежде отправляться в дорогу — ознобиться можно.

В обычные дни, когда на фактории не было никаких приезжих, за столом, сколоченным на скорую руку из трех досок, сидели друг против друга бухгалтер и председатель колхоза. По мнению большинства охотников и оденеводов, они ничего не делали, целыми днями в гляделки играли — кто кого переглядит, и за это начисляли сами себе трудодии.

Со стороны, навёрное, и впрямь было любопытно наблюдать, как «нашальники работали». Старичок Куманда Елдогир, самый смешливый человек на фактории, видимо, только для того и приходил в контору, чтобы посмотреть и потом уверять всех, что наступают нынче такие времена, когда платят за грамоту да сидение за столом. А они, начальники, — бывший охотник и бывший нахарь, усвоившие кое-какую грамотешку, чтобы только расписываться, — маялись на этих местах, не зная, куда себя деть и чем заняться. В душе проклиная свое безделие, они целыми днями нехотя просматривали газеты прошлогодней давности. Иногда обсуждали заинтересовавшие их статьи, особенно на политические темы. Тут-то их хлебом не корми, дай только поговорить:

— Ай-я-яй! Беда. Моя ругай буду. Трумэн амуни! Корею бомба бросай! — начинал председатель.

— Ничо, паря, не переживай! Кошка скребет на свой хребет. Получит, как Гитлер, сразу шелковым станет! — успокаивал его бухгалтер.

— Война будет? — как ребенок, спрашивал снова Ануфрий.

— Не-е! Теперь, паря, долго не очухаются. Высыпали

всем перцу! Не-е-е! Никто теперь к нам не сунется! По-нял? — Бухгалтер поднимал кверху палец.

Но иной раз к суглану, либо какому уполномоченному требовались данные. Тогда Зарубин с деловым, умным видом (может, он специально делал умное лицо, видя, как внимательно и благоговейно следит за ним Эмидак) садился за бумаги и начинал колдовать: туда и сюда гонял костяшки счетов, что-то шептал, шевеля губами, писал и, наконец, удовлетворенно хмыкнув, потирал руки:

— Так-с! — затянувшись самокруткой из махорки «Смерть Гитлеру», хранившейся на фактории еще с военных времен, брал карандаш и, размашисто расписавшись, весело говорил: — Теперь вы, Ануфрий Куманович, таким же макарком ставьте свою комиссарскую закорючку — и гора с плеч!

Хваткий и ловкий на охоте в тайге, Ануфрий немело брал карандаш, терялся и с трудом выводил свою фамилию, но выводил красиво. Вытирал выступивший на лбу от усердия и напряжения пот — словно весь день тяжелые бревна таскал, — и облегченно вздыхал.

На суглане, когда Ануфрия Эмидака избрали председателем колхоза «Омакта ин» — «Новая жизнь», уполномоченным от района присутствовал инструктор райисполкома Суханов. Он был таким заядлым рыбаком, что уже на завтра ранним утром укатил с эвенками на речку Делингнекон, ничего не растолковав, что нужно делать, чем заниматься. Хорошо, что бухгалтер оказался простым и бесхитрым мужиком, совсем своим, как эвенк, да к тому же веселым, он и помог на первый раз распределить людей на заготовку и вывозку дров, на другие хозяйственные работы. Помаленьку дело пошло. Для важности Ануфрий приобрел даже школьный портфелишко для бумаг, иногда ходил руки в брюки — так, как, по его понятию, должен был ходить начальник, или томился от безделья за столом. Хорошо, что с бухгалтером можно было поговорить всласть.

Сильно тосковал Ануфрий по тайге, по охоте, по ночам снились ему белки да горностаи... И робость перед бумагой не проходила. Да и как не робеть, если совсем недавно, вроде бы вчера только, любая бумажка для эвенка означала одно — долги какому-нибудь

«другу». А перед войной эта бумажка обрела еще одну непонятную, неведомую таежным кочевникам силу. Напишут: «Ялогир — бывший шаман» — и увозили человека куда-то в темный дом, а пока разбирались, он от русской еды заболел и домой уже не возвращался.

Когда бухгалтер подавал на подпись бумаги, Ануфрий весь сжимался, сосредоточенно всматривался в неряшливую писанину, где буквы были не похожи сами на себя, как в книжках, и начинала сверлить одна забавная мысль: то ли мышка по снегу бегала, то ли куличок коготками на песке начертил какие-то знаки. Скажи бухгалтеру, смеяться будет. Тогда, в первый раз, еле осилив и поняв слово «план», Ануфрий отстранил от себя бумагу, смахнул со лба бисеринки пота:

— Читай сам.

— Привыкай, паря, к моему почерку, — понял его бухгалтер. — Я думаю, нам долго вместе штаны протирать придется. Мой-то почерк еще ничего, терпимый. А как будешь разбираться с указаниями начальства? Иной, паря, как курица набродит, а ты должен немедленно реагировать...

Зарубин вопросительно взглянул на председателя, но тот только махнул рукой: читай, мол.

— Так, ладно. Начало не буду, так... Провести инвентаризацию, — ну, паря, сам-то еле выговорил, — оленей, находящихся на руках у охотников после промысла, в конце марта или в начале апреля...

— Погоди. Погоди гнать-то... Что такое ин... вер... таю... Или как там?

— Ин-вен-та-ри-за-ция, — по складам прочитал Зарубин. — Я, паря, сам недавно узнал. Это — счет, пересчитать надо оленей-то...

— А чего мудришь, паря? — Эмидак тоже подкузьмил его, передразнив поговорку.

— Так ведь по-научному. В бумаге надо учено писать. Да чо мы базарим, подписывай, Ануфрий Кумандович, гореть — так вместе!

— Что? В темный дом могут упрятать, ежели что не так окажется?

— Не бойсь, — успокоил Зарубин. — Моя подпись тоже стоит. У меня, сам знаешь, шестеро короедов дома по лавкам бегают, считай, план по развитию крупного рогатого скота вдвое перевыполнил, куда я от них? — постучав пальцами по столу, весело сказал

бухгалтер и потом добавил: — А тебе бы, паря, ей-ей, только на деньгах бы расписываться!..

Что верно, то верно. Расписывался Эмидак по-наркомовски, с завитушками, с закорючками. Два года кочевал с ними по тайге в тридцатых годах учитель Суворов, вот он и научил Ануфрия и других охотников грамоте. Как только Ануфрий научился писать, завел тетрадку и светлыми весенними ночами просиживал до нового солнца — учился красиво расписываться. Мария, жена его, хвасталась людям:

— Вот, Суворов научил моего. Ночами теперь не спит, что-то пишет, пишет, как бы не спятил. Может, начальником будет...

Когда Ануфрия выбрали председателем, Мария, довольная, сказала:

— Ну, не я ли говорила — начальником тебе быть...

В конторе становилосьлюдно и шумно. Пришли, похоже, все, кто мог еще двигаться. Большинство охотников и оленеводов сейчас в тайге, а тут, на фактории, оставались старики, старухи, ребятишки да те, кто должен снабжать дровами интернат и контору.

Аня и Николай Чирков сидели на единственной скамейке, спинами к печке. Аня собиралась примерять бакаря, а Чирков от нечего делать просматривал старый «Огонёк». Народ расположился кто где, но тоже жался поближе к печке. Одни сидели прямо на полу, поджав под себя ноги, другие полулежали, прислонившись к обшарпанным стенам. С косматыми головами, с коричневыми, обожженными на морозе лицами, кашля, беспрестанно швыряя носами, все они с любопытством глядели на приезжих.

Они, эти приезжие, появились в Сиринде после ноябрьских праздников, с первым грузовым караваном, и с того времени ни один их шаг не оставался незамеченным. Дело не в том, что за ними следили, нет, тут нарочно заставляй следить, да никого не заставишь, а так, наблюдали из любопытства: куда идут, зачем... И, конечно же, все сразу узнали, что приехали они за ихним продавцом Ванчо Удыгиром. Всего какой-то год с небольшим побыл хозяином магазина Ванчо, но, видно, спохватились, сделали ревизию и — на тебе, обнаружилось, что не хватает товаров и продуктов на

восемьдесят тысяч рублей. Неужели у них, в этом маленьком магазинишке, было столько товаров? Такую кучу денег и представить-то невозможно. Забегали по фактории люди, да где возьмешь такие деньжищи, чтобы помочь Ванчо... Стали ждать конца года, когда за пушнину получат.

Приезжал следователь. Небольшого роста, пронырливый. Ходил по домам, чумам, опрашивал мужчин, женщин, выяснял про муку, сахар, спирт, но так, говорят, до конца и не выяснил — куда могли исчезнуть товары на такую огромную сумму; махнул рукой, заявив, что дело групповщиной пахнет, укатил с последним весенним караваном в Туру. И вот приехал суд.

Но была еще одна причина, заставлявшая всех жителей фактории с удвоенным вниманием присматриваться к приезжим, особенно к женщине, к судье. Она, эта молоденькая женщина, была женой Василия Комбагира, секретаря окружкома партии по идеологии, родители которого — Микулашка и Огдо — живут здесь, на Сиринде, но сейчас они на охоте в хребтах Воеволи. Бахилай — так эвенки произносят имя Василий, в прошлом году вернулся с учебы из Ленинграда и привез с собою молодую жену. Говорили, что она тоненькая, белолицая и беловолосая. Слух этот быстрокрылой птицей долетел до Сиринды, а вот увидеть ее и убедиться в правоте слухов собственными глазами раньше не доводилось. И вот она приехала.

У кого же, как не у родни, ей остановиться? Ведь жена председателя колхоза, Мария, родная сестра Бахилая. Проводник, не ломая голову, без раздумий, как это и положено, завернул оленей к Эмидакам. Он что-то выкрикнул по-своему, и дверь избушки распахнулась настезь. Аня, как брлящая кукла, была укутана во все меховое, и потому пришлось помогать ей подниматься с нарты. Потом, когда она скинула сокуй¹, все поочередно принялись трясти ее руку. Аня не удивлялась, — Василий, перед отъездом объяснил, что так принято.

В маленькую избушку уже успели набиться соседи. Аня развязала уши беличьей шапки и сняла ее. Горела керосиновая лампа, тускло, с большим нагаром на фи-

¹ Сокуй — зимняя меховая одежда с капюшоном, надевается поверх парки.

тите. Как потом рассказывала Мария, люди поначалу отшатнулись от Ани, руками стали заслонять глаза, будто и впрямь солнышко заглянуло в избу!

Было чему подивиться таежным людям. Все утверждали, что до этого никогда не видели такой красивой женщины. Да это и есть настоящее солнышко! Личико маленькое, с огромными, как у оленя, глазами, синими, как небо, а волосы — будто из светлых солнечных лучей сотканы. Ээ, не жену, а самую настоящую ягодку сорвал Бахилай!..

Еще не оглядевшись, не познакомившись ладом, Аня попросила занести с улицы ее вещи. Подростки с радостью кинулись исполнять просьбу. Распаковав турсуки и потки, Аня, доверчиво и смущенно улыбаясь, говоря что-то хорошее, подала гостинцы Марие, Ануфрию и их младшему сынишке Ванчо, дошкольнику. И сразу всем стало легко. Оказывается, невестка простая и добрая женщина. Хорошо, тепло стало на душе у всех. Понравилась она людям. Полюбили ее и за то, что вот она, светленькая, красивая, почти девочка, не постеснялась выйти замуж за такого же, как они, темнолицего, темноволосого Бахилая, их соплеменника, не побоялась приехать в холодный неласковый край и работает не каким-то бухгалтером, который целыми днями костяшки на счетах гоняет, а народным судьей! Разбирается в людях! Утерла нос мужикам. Ай да Бахилай! Разве могли Комбагиры, безоленные бедняки, мечтать о таком счастье! Повезло, крупно повезло Комбагирскому роду!..

Надолго запомнится эта зима всем сириндинцам. Потом, вспоминая, будут они говорить: «Э, это было той зимой, когда приезжала Дылачады кукин — Солнечная невестка!»

Да, ее сразу стали называть Солнечной невесткой.

Куманда Елдогир, смешно перевиравший русские слова, попробовал с нею шутить, и она поняла его, звонко расхохоталась, чем шибко обрадовала старика, и он, осмелев, всякий раз встречал ее какой-нибудь шуткой:

— Ты, доська, оннако, сапсем пилохо дьнём глазам видаешь? — спрашивал он Аню. Та удивленно смотрела на него, пытаясь понять, в шутку или всерьез он говорит.

— А почему вы так думаете?

— Твои глазам сапсем как сова. Она дынем пило-хо выдает.

— А? Вот вы о чем,— звонко смеялась Аня.— Опять вы шутите, а я не могу сообразить, почему это я должна плохо видеть днем...

И, глянув на старичка, снова смеялась. Куманда был очень доволен, улыбался.

В другой раз, увидев выходящего из избушки Зарубина милиционера, у которого тот квартировал, старичок с деланным серьезным видом — для Ани, — стал рассуждать:

— Хэ, беннай, сапсем беннай Сиркох Микулай! Ругай его буду. Сапсем нос не береги, все вирема замерзай. У люча сапсем нету лица, много-много носа. Эвэнки сапсем нету носа, много-много лица. Хорошо, никогда не замерзай!..

— Слышал бы Чирков! — смеялась Аня.

И Чиркова тоже перекрестили, стали называть Онгокто — Нос!..

...Председатель, порывшись в ворохе одежды, лежавшей на столе, выбрал меховые чулки и подал Ане:

— Примерь эти... Куда торопитесь, пожили бы еще. Пройдут морозы, отмякнет, вот и поезжайте потом.

— Весну, что ли, ждате? — Аня посмотрела на него. — И так уже целый месяц командировка длится, нет, надо ехать.

— Ну, смотрите...

Аня надела один чулок, притопнула ногой — удобно ли ступне? — и продолжила прерванный разговор:

— Ну, скажите мне, кто мерил в тайге и тундре километры? Кто?

— Считают, что до Туры от нас шестьсот километров, с небольшим хвостиком, — сказал председатель.

— Конечно, а хвостик ваш еще с полтысячи, — засмеялась Аня.

— По присказке-то, мужик с чертом мерили, — встрял в разговор Алексей Зарубин. — Мужик с чертом мерили!.. Веревкой, да порвалась она у них. Что делать, паря, пригорюнились оба. Черт говорит мужику: давай, паря, свяжем веревку-то и дальше пойдем, а мужичок махнул рукой: не-е-е, паря, канителиться еще с ней, давай так скажем!.. Во как было-то!..

— То-то и оно! — вздохнула Аня. — Что верно, то верно вы говорите, хорошие оленчики — мало километров, плохие — и за полмесяца не доберемся!

— Это правильно, — подтвердил кто-то.

Аня натянула олений чулок на другую ногу, приподнялась, снова притопнула, оглядела и, видно оставшись довольной, снова заговорила:

— Второй год езжу, ко всему уже привыкать стала. Колобо¹ ем, от чукина не оторвать, стельки и те научилась делать по-эвенкийски, а вот к морозам вашим, наверное, никогда не привыкну. Бр-р-р!.. — передернула она плечиками. — Как вспомню, что снова придется спать на снегу, не поверите, всю, до единой косточки, кидает в дрожь. Ужас!.. Ма-а-а-ма! — Аня сделала плачущее лицо, захныкала нарочно и потрясла, как цыганка, плечами. — Хэтэтэй²! Так, да?

По конторе прошел одобрительный шумок. Смотряка, ее уши начинают слышать настоящую речь! Понимает по-эвенкийски! Ну не молодчина ли эта Солнечная невестка?! Вчера на суде говорила такие умные слова, что иные большие начальники, мужики, не додумаются. Все видит и понимает. Совсем как эвенкийка. Пожалела она бедного Ванчо, разъяснила всем, где и какой промах допустили они с магазином. Молодец! О, Добрый Дух, дай ей счастья!..

Аня, чувствуя, что на нее смотрят, картинно, как в кино, мотнула головой — откинула на спину рассыпавшиеся золотые волосы, завязала их в пучок на затылке. Кто знает, может, как всякая красивая женщина, немножко и рисовалась она, не без этого, но люди — полная контора стариков, женщин, подростков, детей, казалось, ничего этого не замечали, все заворженно смотрели на нее.

— Чулки как раз. Можно ехать! — заключила она.

— Да не торопись ты, — отрываясь от журнала, сказал Чирков. — Знаю я их лешачью натуру: с утра начинаются сборы, а выезжают ночью.

Все посмотрели на Чиркова и промолчали. Зарубин немножко помялся, но тоже ничего не сказал. Милиционеров вообще-то здесь побаивались, а этот лет тридцати мужик, видать, и вовсе шуток не любит, на язык

¹ Колобо — хлеб.

² Хэтэтэй — восклицание замерзшего человека.

грубоват. По фактории ходит начальником, с топором мужичок, пистолет вечно на боку висит — как напоказ.

Но тут произошло маленькое событие, отвлекшее внимание и от милиционера, и от всех остальных. Распахнулась дверь, и в клубах морозного пара, ворвавшегося в контору, началась возня, послышался собачий визг. Прямо в избу на своре собак въехала какая-то... парка.

— Тулиски! На улицу! — дружно закричали на собаку. Те, опустив виновато морды, поджав хвосты, пробирались в передний угол и прятались под лавку, под стол. Их можно понять. Где люди — там и они, им тоже интересно знать, ради чего нынче такое сборище?

«Парка» поднялась, прошла вперед, закашлялась, и все узнали старичка Куманду Елдогира. Он подхватил слетевшую с головы шапку, огляделся и весело произнес:

— Мне оленчик не надо, я на собаках умею ездить. Все рассмеялись, а Мария, притворно насупившись, сказала:

— Хэ, память дырявая стала. Забыла взять с собой толстую иголку с крепкой жилой. Кое-кому зашила бы рот.

Снова раздался смех, а старичок, словно это его и не касалось, кинулся выгонять собак. Увидев большого, откормленного председательского Чипкана, уже нашедшего хозяина и присевшего у его ног, Куманда остановился, стряхнул куржак с платка, которым была обмотана шея, и обратился к собаке:

— У-у, бесстыжий! Это ты меня свалил в дверях? Камусиная твоя рожа, оброс весь шерстью, вот и разучился краснеть. У-у, толстомордый! Отъел пузо-то, теперь лень шевелиться. Тоже начальником стал! Скоро вместе с хозяином беличий след от песцового отличать разучитесь... Ну, не вороти харю-то, вижу, вижу и твоего хозяина. Он тоже посиживает в тепле, с умным видом газеты читает, а трудодни идут!.. Да не косись ты глазами-то, не косись... Лучше позвал бы хозяина, пока снег неглубокий, погоняй б зверьков, а за столом пусть бухгалтер сидит, он тайгу не знает... Ему и тут хорошо... А ну, пошел вон! Тулиски! — Куманда замахнулся на собаку шапкой. Та виновато двинулась к двери, поглядывая то на хозяина, то на старичка, у входа остановилась. Старик легонько под-

толкнул ее, и Чипкан лбом открыв дверь, выскочил на улицу.

Ануфрий после критики Куманды, чуть растерянно улыбаясь, оглядел присутствующих, развел руками, как бы говоря: что, мол, с него, старого, взять...

Куманда, перешагивая через ноги сидящих, упираясь руками им в спины, пробрался к стене и, крихтя, опустился на свободное место рядом с подростком Гирго Хукочаром, который будет сопровождать отъезжающих.

Аня Кумбагир примеряла уже унты. Они ей тоже оказались впору.

— Ну, как, Мария? — спросила она.

— Ты сама смотри, — отозвалась та. — Тебе в них ехать.

— Нисиво, тайга пропадай не будешь, — услышался голос Куманды. — Лепеска будет помогай штаны снимай.

Снова все засмеялись. Под шум, смех и кашель, боясь, как бы Аня не обиделась, Мария схватила со стола сокуй, дотянулась до старичка, легонько хлопнула его по спине:

— Зашью тебе рот когда-нибудь, чтобы язык твой не болтался, как на ветру тряпка.

Смех и кашель усилились. Лепешка — Гирго Хукочар — смущенно уткнулся лицом в шапку, а Аня, попяв наконец, в чем дело, вспыхнула, зарделась, но тоже засмеялась:

— Ну, Куманда Кутуевич, вы у нас заработаете баню...

Какая же молодчина она, эта Солнечная невестка. Чирков, пожалуй, не нашелся бы, что сказать, вон какой надутый сидит, а она все в шутку обернула. А правда-то в словах старичка есть. Смех и грех, как говорится, в дороге с этими уполномоченными. Иные сидят на нартах, боясь рукой-ногой пошевелить, сидят до тех пор, пока совсем не закоченеют. А за кустики-то по нужде нужно бывает сбегать? Вот и приходится проводникам ухаживать за ними, как за малым дитем, ремни, пуговицы расстегивать на толстых меховых брюках. Мужчинам-то еще ничего, а какво женщинам, да еще таким молоденьким, как Аня?

— Чем смеяться, лучше организовали бы по дороге станки, построили бы избушки да оленчиков подбира-

ли бы, как у Кордуя.— Аня строго посмотрела на председателя.

— У Кордуя олени — ветер, — отговорился тот.

— Вот и нам запрягите ветер!

Фамилию Кордуя, председателя соседнего колхоза из Мурукты, частенько вспоминали, собираясь куда-нибудь аргшитить. И долго еще вспоминать будут, поскольку он поставил рекорд скорости езды на оленях — за двое суток добрался от Мурукты до Туры, а расстояние у них не меньше, чем от Сиринды.

Дело было так.

Дня за три до пленума секретарь окружка партии Чугунов вызвал по рации на переговоры председателя Кочевого Совета Чапогира, а на рацию вместо него пришел Кордуй.

— Моя, Кордуй, слушает!.. Прием! — услышал Чугунов далекие крики.

— Как Кордуй? — удивился Чугунов и тоже перешел на крик. — Что за фокусы? Мы вас встречать собрались, а вы что делаете? Вы что, не поняли, что вам нужно отчитываться за оленей? Вы пленум сорвали!..

— Моя пленум приедет!.. Моя оленчики запрягай!.. Прием!..

— Моя, моя, — не сдержался Чугунов. — Вы, говорю, пленум нам сорвали!.. Вам добираться-то больше недели!..

Съехавшимся со всех районов и факторий партийцам объявили об изменении повестки. Говорили, что Кордуя заготовили выговор, но какво было удивление всех, когда накануне открытия пленума в коридоре Большого Чума появился... Кордуй, веселый, довольный:

— Моя не опаздала?..

Вот о нем-то и вспоминали сейчас. Во время выборов в местные Советы некоторые молодцы пытались побить его рекорд, да куда там...

— Ему что? Гнал, как хотел. Приехал на станок, тут же опрокинул кружку чая, сел на свежих оленей — и дуй дальше! Да еще по теплу, — высказался Зарубин.

— Нам, пожалуй, поближе ехать, — опять поднял голову милиционер. — Каждый день до ночи будем собираться, так наставим рекордов.

— Ночью оленчики лучше бегут, да и звезды не дадут потерять дорогу, — пытаюсь объяснить долги

сборы, сказал председатель. Остальные молча посмотрели на Чиркова.

— А я вообще никуда бы не трогалась от тепла,— заговорила Аня.— Мерзлячка я. Никогда не привыкну к морозам.

— Нисиво, плакать не нада,— подбодрил ее Куманда.— Железная птица летай Туру из Красноярска. Скоро факториям будет летай. Тогда ты у меня будешь пить чай, другой чай будешь пить своя дома!..

— Это когда еще будет-то?.. Скорей бы уж...— вздохнула Аня.

Наконец все было готово. В парке, в беличьей шапке с длинными ушами, в бакарях и поверх всего этого сокуе, Аня стала похожей на неуклюжего медвежонка. А Чирков в меховом одеянии походил на громадного, прямо-таки гигантского лося.

— В дверь-то пролезешь? — пошутил Зарубин.— А то, паря, прорубать придется.

«Как такую тушу оленчики повезут? — думал парнишка Хукочар, глядя на милиционера.— Не поломались бы нарты...»

На улицу Чирков выходил боком, чуть ли не на четвереньках.

— Э, страшно!

— Своротит контору-то!

Люди смеялись. Хорошо, что Чирков не понимал по-эвенкийски, а Аня заметила:

— В следующий раз пошире и повыше делайте двери!..

Хукочар и хмурый, убитый горем Ванчо Удыгир, тоже тепло одетые, но не так толсто, как русские, занялись упряжками. Чирков позавидовал, с какой легкостью они двигались, не торопясь, голыми руками, пристегивали нехитрую сбрую, ремни. Вчера, после суда, он хотел взять Ванчо под стражу и посадить в баню, но судья не позволила, сказав, что он и так никуда не денется.

— Подчиняюсь. Смотрите, вам отвечать,— согласился милиционер, но, не сдержавшись, все же заметил:— А вы ему маловато дали. За такие штучки на материке на полную катушку лепят!..

— Будете на моем месте, Николай Васильевич, тогда и лепите свои катушки!

Чирков промолчал, но, выходят, судья и тут оказа-

лась права. Ни бежать, ни другой какой попытки что-то предпринять Ванчо, похоже, и не собирался делать, а так тихо-мирно переночевал дома, смирившись со своею участью. Еще раз взглянув на бывшего продавца, Чирков сказал Зарубину:

— Странные они люди. Человеку пятнадцать лет где-то корчаться, считай, полжизни за решеткой пройдет, а им хоть бы что! Случись такое у нас, какой бы рев стоял!..

— Сравни-ил! — протянул Зарубин. — У нас, паря, народ хоть и тертый, да слезливый. А эти к горю привышие. По покойникам и то не режут. Говорят, грех — услышит, мол, Харги, Злой Дух, еще большую беду напустит. Вера, паря, такая...

У Чиркова это была первая командировка на факторию, с эвенками сталкивался впервые, и ему казались странными и быт и обычай бывших кочевников.

Гирго Хукочар и Ванчо Удыгир еще раз прошлись по всем нартам, потрогали мешки с продуктами, потакуи, спальники и, чтобы, не дай бог, ничего не потерять по дороге, крепче стянули ремнями и маутами¹.

А грузу все прибывало. Старики и старухи нанесли сушеного мяса, мерзлой рыбы и даже мороженого молока, смешанного с голубицей, — гостинцы для Ани и Бахилая. Одна незнакомая бабка, вся сморщенная, опираясь на посох, подошла к Ане и за руку отвела в сторону. Показывая на кумалан — коврик из оленьих шкур, стала что-то быстро-быстро говорить. Аня позвала Марию:

— Иди сюда. Не могу понять, что она хочет, очень быстро говорит.

— Это бабушка Кимэктэ, наша дальняя родственница, — выслушав бабку, объяснила Мария. — А кумалан — это вам с Бахилаем ее подарок. Кумалан, говорит, маленько худой, не совсем удачно подобраны шкурки. Но, за неимением лучшего, бабушка Кимэктэ дарит этот. В будущем, когда мужчины настеляют диких оленей, она сама подберет шкурки и сошьет красивый, как северное сияние, кумалан. А пока отдыхайте с Бахилаем на этом...

Старушка скромничала. Кумалан был необыкновенно красив, хоть на выставку его посылай.

¹ Маут — аркан для ловли оленей.

— Спасибо, бабушка. Спасибо, но он нам не нужен. Куда я его дену? Видите, укладывать некуда.

Мария молча подошла к нарте, сбросила на снег шкуру-сиденье, постелила вниз этот кумалан, потом сверху положила подстилку.

— Так мягче будет. В Туру приедешь, не бросай, возьми, пригодится вам с Бахилаем... — наказала она.

— Так, так, — кивала головой и старушка.

Тронутая вниманием старой незнакомой женщины, Аня попыталась сопротивляться другим подаркам, говоря, мол, зачем ей это, еще подумают, что она приезжала обирать людей, но ее никто не слушал. И Мария сама распорядилась, что и куда положить, как упаковать.

Начались последние наставления, прощание. Жали руки. Откуда-то из серой мглы вынырнул с мешком за спиной старичок Куманда. Запыхался. Оказывается, бежал в чум за гостинцем — тайменем.

— Этга тебе, доська. Приезжай летом. У меня будет много-много рыба, мы будем с тобой кушай!..

— Спасибо, дедушка! Только мне ничего не надо...

Старичок ее уже не слышал. Он поймал за руку Хукочара, громко, чтобы все знали, заговорил:

— Гирго! Гирго! Мотри, бзе¹, следи полномоченной, штобы в штанах у них сухо было, понял?..

Опять раздался громкий смех. Мария, смеясь, стала обирать у Гирго хорей, приговаривая:

— Дай, дай сюда! Я его сейчас такогрею, что у него у самого будет там мокро!..

Старичок неуклюже, как россомаха, отскочил в сторону. Он был доволен. Люди маленько посмеялись, а это хорошо, в дороге теплее будет.

Потом он подошел к Ванчо Удыгиру. Лицо его на этот раз было серьезным, печальным, даже мелкие трещинки-морщинки, оленьими тропами разбежавшиеся от глаз, стали заметны. Голос его дрогнул:

— Ванчо! Сынок!.. Пусть твое сердце будет огромным, как небо! Пусть не хмурится оно на людей. Не держи в нем обиды. Ты помогал нам выжить на этом Срединном мире в трудную пору. Мы будем молить Духов, чтобы дали они тебе силы выстоять там, в чужой стороне. Не держи обиды на нас, сынок!..

¹ Бзе — мужчина. Здесь в значении — друг.

Не стерпела толпа. Только что смеявшаяся и, казалось, совершенно забывшая, по какому поводу она собралась, теперь как бы очнувшись, разом загомонила, запричитала.

Ванчо хмуро молчал, но видно было, что он крепился, сдерживал себя из последних сил. Ане стало жалко его. Она опустила глаза, чтобы никого не видеть сейчас. И впервые подумалось ей, что, наверное, таких неловкостей впереди будет немало.

— Анванна, ты сюда сидай, — угрюмо обратился к ней Хукочар. — Моя нарта твою таскай, Ванчо — милицию...

Ане и Чиркову помогли сесть в нарты.

Хукочар еще раз по-хозяйски окинул взглядом свой караван, перебросился словами с Удыгиром и тронул хореем передового быка. Аргинц двинулся.

Осужденных в те годы возили по-всякому. Иные сами добирались до Туры, других, как Ванчо, доставляли представители власти.

Заскрипели полозья о сухой морозный снег, защелкали в суставах оленьи ноги...

Поехали!..

* * *

Из фактории, с отлогого берега, дорога незаметно скатилась на лед озера и, огибая торосы, потянулась, как длинный маут, к противоположному берегу. А озеро, по здешним меркам, огромное. В длину километров пятьдесят, в ширину — двадцать. В ясную погоду на той стороне темнеет зубчатая полоска хребта, а за нею, как олений сосок, высятся священная гора — Унгтувун, Шаманский бубен. Осенью, отправляясь на охоту к хребтам Воеволи, каждая семья охотника считает своим долгом первую стоянку сделать у этой горы и принести жертвоприношения Духам.

У большого, как русский дом, серого валуна лежат подарки, на деревьях развешаны разноцветные тряпочки, и все это — Верховному божеству Экшэри — хозяину зверей, птиц, рыб и всей тайги. Разгневаешь его — охота может пройти впустую. Экшэри — держатель ниточек жизней. Оборвет ниточку — обрушится каменной осыпью вершина скалы, оборвет другую — засохнет на корню дерево, перережет третью — исчезнет в тайге

зверь. Хитрый он, Эксэри, — как лиса, скользкий — как налим. Дух охоты посылает промысловика зверя, а Экшэри меняет решение, говорит: «Нет, так не пойдет, этот охотник не заслуживает доброй добычи, он плохо ведет себя, не уважает ни законов тайги, ни законов жизни». И отгоняет звериные табуны на участки другого. Таков он, этот всеильный и всемогущий Экшэри.

В сумрачном сером свете висят мохнатые снежные кристаллики — жмет мороз. От дыхания оленей образуется белое облако. Ничего, кроме расплывчатых силуэтов, не видно ни спереди, ни сзади. И горы не видно, да и незачем подъезжать к ней с русскими-то... Они не верят в бога, в сверхъестественные силы, а всякие приметы считают пережитками прошлого.

Зимняя дорога, не добегая до берега, сворачивает в залив, который переходит в узкую речушку Делингдекон — Малую Тайменную, рожденную этим озером, и змейкой будет петлять, повторяя все повороты реки. Там можно будет сделать первую остановку — дать отдышаться оленям и растормошить очолевших людей, заставить их двигаться.

А пока дорога бежит по серой, сгущающейся мгле. Бежит долго, бесконечно, словно она протянулась до самых звезд, тускло мерцающих на горизонте.

Все приметы говорят о том, что крепкие морозы еще продержатся. Может, прав был председатель? Может, и в самом деле следовало дожидаться лучших времен, когда вернутся сборщики пушнины, потом с опытным проводником ехать?

Тревожные мысли стали потихонечку лезть в голову, и Аня горестно вздохнула, заерзала, усаживаясь поудобнее, откинулась на спинку нарт. «Не могли найти другого каюра. Этот мальчишка, наверно, и дороги-то толком не знает. Мало ли что может случиться в пути... И Ванчо, похоже, — ни рыба ни мясо. Или это косоглазие делает его таким, что не поймешь сразу, что у него там, внутри. Жалко, конечно, парня... Если бы не указание вернуться к Новому году, можно было бы первые морозы пересидеть на фабрике...»

Вспомнила о Чиркове. «Неужели снова с ним будет нервотрепка до самой Туры? Откуда это в нем? В поселке на работе был человек человеком, ничего такого за

ним не водилось, а тут стоило только в тайгу выехать, как полезло из него высокомерие и брезгливое пренебрежение к эвенкам...»

По анкетам Чирков простого, крестьянского происхождения. Родился в Сибири; в сорок пятом году его взяли в армию, правда, войну он не захватил. Через пять лет демобилизовался и вернулся в родную деревню. Сразу же женился на местной красавице. Слух ходил, что не повезло ему. Эта красавица вышла за него, чтобы убежать из колхоза. В городке Боготол, куда они переехали, жена получила паспорт, и Чирков больше ее не видел. Чтобы забыть свое горе, он подался на Север. Здесь в милиции оказался его земляк, он и помог устроиться на работу. То, что Чирков слишком прямолинеен, это еще не беда. А вот то, что высокомерен, грубоват с людьми, уже плохо. Эвенки обидчивы, трудно ему будет в Туре прижиться.

Когда ехали с грузом в Сиринду, Аня вместе со всеми ела дымящееся мясо, вываленное из котла в большую общую тарелку. Она, как и все, отрезала ножом у самых губ кусочки оленины, увлеклась едой (все же на морозе проголодалась) и не заметила, что милиционера-то нет. А он, оказывается, налил в свою кружку чаю и, достав из мешка хлеб с маслом, пошел есть на удицу. Аню это удивило. Она знала: эвенки не любят, когда приезжие держатся обособленно. Да и какое же может быть доверие между людьми, если каждый по отдельности, сам по себе? Обычно продукты сваливали в общий котел, как говорится, и ели кто сколько хочет. Война прошла, и здесь, на Севере, теперь с продуктами все же лучше, чем в Центральной России. И месяц, и два, если столько придется аргить по тайге, можно питаться за общим столом, и никто тебе плохого слова не скажет, никто не осудит.

Мужчины ушли за оленями, и Аня решила поговорить с Чирковым. Это его первая командировка, надо предупредить человека, что так, мол, не годится себя вести, тем более представителю власти. Она вышла на улицу. Чирков сидел на нартах и, зажав обеими руками кружку, жевал хлеб, запивал чаем.

— На одном чае долго не протянете, — сказала Аня.

— А вы не боитесь заразиться туберкулезом или еще какой холерой? — ответил милиционер и поморщился. — Мне с ними противно.

Аня снова удивилась. Ей еще ни разу не приходилось встречаться с такой откровенностью.

— Зачем же, в таком случае, вы приехали сюда?

— Моя ошибка. Не думалось, что вместе с хунхузами из одной кружки буду чай распивать.

— Вы, наверно, забыли, что мой муж тоже, как вы выражаетесь, хунхуз...

— При чем здесь ваш муж? Василий Николаевич цивилизованный человек. С высшим образованием!..

— У вас странное представление об одном и том же народе. Но вас здесь могут не понять, с вашей философией. Вы мужчина, а ведете себя хуже красной девицы...

— Анна Ивановна, меня меньше всего беспокоит, что они обо мне скажут. Здоровья, говорил мне отец, не купишь... Не хочу, чтобы по мне вши ползали. — Он снова откровенно поморщился, выплеснул остатки чая. — Конечно, зря я согласился работать в милиции. Не мое это дело. Вы можете не поверить, но я почему-то в каждом человеке вижу потенциального преступника.

— С таким настроением вам лучше не ехать. Не вернуться ли вам?

— Куда? — Чирков вздохнул. — Ничего, не бойтесь, как-нибудь выдюжу...

Эвенки вскоре догадались, что Чирков брезгает вместе с ними, и стали в его адрес отпускать всякие шутки и реплики. Хорошо, что он не понимал их языка. Однажды Чирков взял кусок мяса и со своим хлебом вышел на улицу. Бригадир грузчиков, пожилой мужчина Датуча Арканчан, выразительно сплюнув, проговорил: — Дулбун!

Все рассмеялись, а Аня, вспыхнув, потупилась. Наступила неловкая тишина. По лицу Ани эвенки увидели, что она поняла сказанное. Надо укоротить языки!

* * *

Сиринда... В начале нынешнего столетия в тайге и тундре на сотни верст кругом не было ни одной избышки, а здесь уже красовалась небольшая деревянная церковь. Это была первая постройка русских в этих местах. «Русский шаманский дом» — так называли церквушку эвенки.

Туруханские миссионеры знали свое дело. Один раз в году приезжал сюда мордастый поп, сопровождаемый

эвенкийским князьком Тнитеем, на груди которого, как солнце, сияла большая царская медаль, и за несколько дней, махая и дымя кадилом, как дымокуром от комаров, справлял все накопившиеся дела: крестил новорожденных, давал им православные имена, отпевал ушедших, как говорили эвенки, в Нижний мир, а самое главное, не гоняясь за нехристями по тайге и тундре, принимал дары — «меховую рухлядь». Любил поп-батюшка пушнину! Хоть сколько клади, не отказывался, наоборот, охотнее давал целовать золоченый лик русского бога!

Революционные события, а затем и война, разразившаяся в стране, спутали все планы служителей культа, помешали им довести до конца свои замыслы — поселить на берегу этого рыбного озера на постоянное жительство попа и дьячка, а со временем сделать и целое православное поселение. Новые власти, пришедшие на смену царизму, не признавали веру в бога и разных Духов, а туруханских попов и дьячков они или попросту разогнали, или те сами сбежали, и осталась эта таежная церквушка без дела. Долгие годы, как привидение, в сумерки пугала она кочевников. Оказавшись поблизости с ней, эвенки неумело крестились и спешили поскорее убраться подальше от этого гиблого места.

В те же годы на тайгу и тундру навалились невиданные ранее беды. Перестали приезжать «друзья» князьков, и в таежных стойбищах, в одиноких островерхих чумах, красовавшихся на веселых, бойких берегах рек и озер, начались голод и болезни. Тайга и тундра огласились громовым рокотом шаманских бубнов, хриплыми выкриками, сзывавшими всех Добрых Духов на борьбу с несчастьями. Но камлания самых сильных шаманов были напрасными, бессильными оказались Духи; тайга становилась пустой и безлюдной. Оленные люди, благо им было на чем кочевать, в страхе бежали из этих проклятых мест, а большинство бедняков уходило в Нижний мир. Хоронить их было некому; те, кто мог еще двигаться, тоже в ужасе перед всемогущими силами Злых Духов разбегались по окрестному лесу. Выли, обезумев, собаки... И, чтобы как-то объяснить беды и несчастья, навалившиеся на сородичей, шаманы стали обвинять во всех смертных грехах русских священников, поставивших в тайге церковь для укрощения Добрых эвенкийских Духов.

Суеверный, отчаявшийся народ ринулся к озеру, чтобы огнем уничтожить «поганый русский дом», но в это время приехал к таежникам представитель новых властей, привез муки, сахару, табаку, разных лекарств.. Это и спасло остатки некогда больших и сильных эвенкийских родов.

Не суждено было церквушке исчезнуть в огне. Не страшны ей оказались ни вечная мерзлота, ни стихии. Как поставили, так ровнехонько, не покосившись, не заросши мхом и стояла она, чуть посеревшая под дождями и снегопадами. Видно, строил ее добрый умелец, настоящий мастер, раз сумел он из «дикарей», своих помощников, сделать отменных плотников и столяров. Одним топором, без гвоздей, были вытесаны фигурные оконца, в которые вместо стекол вставлялась слюда, наличники, ставни и, как положено, аккуратный куполок с крестом наверху.

По количеству бревен теперь можно сосчитать, сколько семей кочевников участвовало в строительстве храма. Бревно — взнос каждой семьи, кочевавшей в этих местах.

В тридцатых годах, когда организовывали первые простейшие производственные объединения и строили фактории, у церквушки снесли купол, кое-что переделали внутри, и стала она называться Красным Чумом. В этом Красном Чуме проходили сугланы, а также суды...

Перед поездкой в Сиринду Аня несколько дней потратила на знакомство со старыми судебными делами, проходившими на фактории. Любопытными и познавательными были они для понимания психологии кочевника.

Судились чаще всего из-за калыма, за неуплату отработки, опять же связанной с приобретением женщин, разбирались жалобы на престарелых женихов, мелкие сеоры. На материке многие из этих дел просто не принимались бы к разбору, никто не стал бы терять на них время, усилия, но здесь отказать было нельзя. Вместо родовых судов вступали в силу новые советские законы, и обиженных нужно было защищать.

Попалось довольно любопытное дело, случившееся в самый разгар коллективизации. Видно, наломали тут дров, перегнули палку. Смешно теперь читать. По решению местных властей коллективизация в Эвенкии долж-

на была закончиться ровно через год, чтобы можно было доложить высокому начальству о завершении этого мероприятия. В коммуну Сиринды собирали всех кочевников, обитавших в радиусе ста километров от озера. Обобществляли не только оленей, но и собак, орудия охоты, чумы, весь домашний инвентарь. В личном пользовании оставалась только одежда. Распределение продуктов шло по количеству едоков. Вместе со всеми в коммунах, то есть в простейших производственных объединениях, оказались князья и шаманы.

Всем членам коммуны в Сиринде выдали крупную ссуду. Не зная, что с нею делать, деньги быстро истратили на разные мелкие нужды и обратились за новым кредитом, радуясь, что Советская власть такая щедрая, столько денег дает на еду.

По бумагам было видно, что эвенки совершенно не понимали ни сущности, ни задач коллективизации. Объединение происходило номинально, а на деле все оставалось по-старому. Каждый охотник продолжал жить в своем чуме, осматривал свои ловушки. «Мы не вместе промышляем,— говорил на суде какой-то Елдогир, может, даже Куманда, имени не указано,— а в разных местах. Я знаю свои родовые земли, где веками охотились мои предки, Боягир ходит по своей земле, по своей речке. Я к нему не лезу и не хочу, чтобы мои плашки и черканы осматривал другой человек...»

Вот и дело бывшего продавца Ванчо Удыгира чем-то было похоже на те, прошлые дела. С ним злужб шутку сыграли обычаи народа. У эвенков раньше не было продуктов только для себя, они были общими. Убил сохатого, поймал тайменя — дели поровну на все стойбище. То был закон, выработанный тяжелой таежной жизнью; его соблюдали все кочевники — иначе они не смогли бы выжить в борьбе с суровыми силами природы.

Следователь, конечно же, не знал всех тонкостей кочевых обычаев, а может, просто не захотел влезать в такие дебри, откуда потом трудно выпутаться, а реңил: существует новый закон, перед ним, как известно, все равны. Совершил преступление — отвечай. Крупное, групповое хищение социалистической собственности — так он квалифицировал это дело.

Аня до суда и во время слушания дела пыталась еще раз выяснить, как же мог Удыгир за какие-то полтора

года допустить такую огромную растрату, которая и подтвердила догадку о злой шутке обычая.

Ванчо Удыгир, назначенный заведующим магазином, посчитал, что он теперь полноправный хозяин всего добра, и стал раздавать продукты всем нуждающимся. В магазин приходили женщины, без денег набирали сахар, табак, не говоря уже о муке, обещая уплатить потом, когда вернутся с пушниной мужа.

Возвратились к Новому году охотники, но их добыча почти полностью ушла на оплату различных артельных кредитов, государственных займов, на трудодни ничего не осталось. «А, — махнули беспечно рукой, — потом заплатим...»

К тому же у Ванчо не оказалось никаких бумаг на списание дров, разной тары и передачу материальных ценностей. Если дрова, тара были мелочью, то документы о передаче ценностей — это уже посерьезней... Где теперь искать этого Жданова, надувшего доверчивого беднягу, да и что ему можно предъявить? Он, как говорится, чистенький, все записано на Удыгира. Могли, конечно, схимичить еще в Туре при выдаче грузов — там тоже разные люди работают.. Так ведь на то ты и продавец, лицо материально ответственное, — следи, проверяй, не хлопай ушами...

Аня осматривала «гири» Удыгира — камень и мешочки с дробью, с помощью которых он отпускал продукты. Килограммовый камень оказался фактически почти на пятьдесят граммов тяжелее. Значит, на каждом килограмме Ванчо сам себя обвешивал.

— Так ведь и Жданов пользовался этими гирями, — недоумевали свидетели. — А у него не было недостачи...

«У Жданова голова была на плечах, еще неизвестно, сколько ваших денег он вывез отсюда», — хотела сказать им Аня, но промолчала, удивляясь детской наивности взрослых людей.

На суде Ванчо полностью признал себя виновным. Обвинение в групповом хищении отпало. Видно, кто-то растолковал ему, как вести себя на суде. Халатность и статья о крупном хищении социалистической собственности остались, тут уж Аня ничего не могла поделать.

Бегут оленчики, выдыхая белый пар, пощелкивают костяшки ног, уныло поскрипывают нарты. Сколько еще слушать эту однообразную песню!

Бегут оленчики, вместе с ними бегут и мысли. Что остается делать? Только вспоминать да думать...

Аня Комбагир была коренной ленинградкой. Еще два года назад она даже в мыслях не могла представить себе, что так круто изменится ее судьба и она окажется на Севере, на краю земли. Она сама удивлялась: как это вдруг, со случайной вроде бы встречи, ее в общем-то короткая жизнь так резко разделилась как бы на две части: одна — ленинградская, с безмятежным, веселым детством, с голодной блокадной юностью; другая — совершенно иная — вот эта сегодняшняя, северная... Не затащи ее тогда Нинка Рязанова на новгородный вечер к иностранным студентам, возможно, ничего этого и не было бы. А Нинке очень хотелось «подцепить» какого-нибудь иностранца, вот она и уговорила Аню составить компанию...

На вечере было много музыки, шума, смеха. Танцевали, пели любимые студенческие песни. К ним с Нинкой подошли двое парней, как они думали, корейцев, пригласили на танец. Потом, к великому сожалению Нинки, выяснилось, что это наши, советские студенты — северяне. Василий Комбагир и Виктор Эйнелькут.

— Перед вами — Эвенкия и Чукотка, — весело сказал Василий.

— Ой, а почему вы не в шубах? — по-детски, искренне удивилась Нинка и тут же сама рассмеялась: — Какая же я дура...

Начитавшись об отважных челюскинцах, о героях Джека Лондона, Аня, как и Нинка, представляла себе северян в неуклюжих меховых одеяниях.

— А мы думали, что вы корейцы или китайцы, — поборов смущение, сказала Аня и спросила: — А у вас как, только на собаках ездят?

— На собаках вот они, — Василий кивнул на Эйнелькута, — а у нас на оленях.

— И сырое мясо едите?

— Я сейчас с удовольствием полакомился бы сырой печенью или строганиной из чира! Объядение, пальчики оближете! — Девушки удивились, вытаращили глаза. Это

Василия вдохновило, и он, улыбаясь, продолжил: — Лучшая закуска парижских ресторанов!.. Между прочим, приезжие сырое мясо едят больше, чем мы, северяне. Мы не каждую печень, не каждую рыбину будем есть в сыром виде, а приедем — любую подавай! Нравится!.. И могу вам сообщить интересную деталь, недавно вычитал. В сыром мясе имеются все витамины, которые содержатся в овощах и фруктах. Вот поэтому мы никогда не болели цингой. В отрядах землепроходцев Сибири казаки болели, а проводники — никогда. Кстати, еще одна деталь... Первым из русских писателей о нас, северянах, миру поведал великий Пушкин. Помните, у него есть строчки: «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, и назовет меня всяк сущий в ней язык. И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой тунгус, и друг степей калмык!» Так вот, перед вами... и ныне дикий тунгус! — Василий церемонно приложил руку к груди, с улыбкой поклонился девушкам.

Аня тоже улыбнулась:

— А в этих... в шкурах, у вас до сих пор ходят?

— Велик могучий русский язык! — засмеялся Василий. — Это ведь как посмотреть!.. Допустим, «в шкурах» — звучит несколько диковато. Воистину — и ныне дикий, дремучий тунгус! Жалко бедных пещерных людей. А если чуточку по-другому сказать: в мехах, например? Модницы обожают наряжаться в дорогие меха. Приезжайте после университета к нам на Север, и мы оденем вас в горностаев и соболей... будете тоже в шкурах ходить!.. Согласны?

— Ой, как интересно! — чуть не захлопала в ладоши Аня, но тут же огорченно добавила: — Нет, у вас очень холодно, мы сразу превратимся в сосульки. У вас мороз пятьдесят градусов! Это же ужас!.. С ума можно сойти. Я и в двадцать-то замерзаю. Меня мама так и зовет — мерзлячка...

— Ленинградские двадцать градусов равны нашим пятидесяти.

— Неужели?

— А вы приезжайте — сравним...

С того вечера Василий и Аня стали встречаться. Сначала как бы случайно — то в библиотеке сталкивались, то в коридоре университета, хотя факультеты их располагались в разных корпусах, здоровались, перебрасывались ничего не значащими словами и разбегались. Но

одежды Василий осмелился проводить Аню до трамвайной остановки, пригласил в кино, и начались их ежедневные прогулки по городу... С Васильевского острова они шли по Дворцовому мосту к Зимнему дворцу, выходили на Невский проспект и шагали по нему до самого Литейного, на котором жила Аня. Василий рассказывал ей о тайге, о Нижней Тунгуске, и выходило, что самая красивая земля и реки — это там, на его родине. Рассказывал о родителях, до сих пор кочующих из тундры в тайгу на промысел за пушниной, об оленях, по которым очень соскучился... Говорил, что наконец-то уезжает в родные края... Вот только сдаст выпускные экзамены — и домой. Там его ждут, на Севере пока не хватает грамотных кадров...

Аня не заметила, как стала мечтать о тех неведомых ей краях, о неизвестной таежной жизни. В мыслях она представляла себя в меховых одеждах, в таких же парках и унтах, какие видела в этнографическом отделе Русского музея. Вот она едет по нетронутой снежной целине на оленьей упряжке, за ней вьется снежная пыль. Ветер свистит!.. А тундра перед нею — ни конца, ни краю. И где-то там, далеко-далеко, на горизонте, призывно светит Полярная звезда!.. Как хорошо!..

Какие в ту весну были чудные белые ночи!.. Она словно впервые увидела их. И город, родной любимый город, тоже видела по-иному. После страшной войны он залечивал раны, кое-где еще оставались развалины, но улицы, проспекты, набережные уже прихорашивались, и Ленинград снова становился красивым, как прежде. В весеннем воздухе, в задумчивой сумрачной синеве, казалось, носились будоражащие сердце запахи, от которых так сладостно и тревожно становилось в душе. Огромная, но непременно счастливая жизнь ожидала ее впереди. О, как хорошо жить на свете и как чудесно быть молодым!..

И странно, о чувствах своих они с Василием не говорили ни разу, хотя, конечно, сознавали, что нравятся друг другу. Иначе зачем бы, спрашивается, нужны были эти ежедневные прогулки по городу?

Все решилось удивительно просто, неожиданно и обыденно. Даже без свадьбы, хотя и о ней тоже мечтались.

Экзамены были уже позади. Василий получил дип-

лом преподавателя истории, а Аня — юриста, и они снова встретились на Университетской набережной.

— Вот и кончилась наша студенческая жизнь, — с наигранной веселостью сказал Василий, хотя было заметно, что ему сейчас не до веселья. Выдавали глаза, печальные, не такие, как всегда. Ане тоже было грустно, у нее вдруг заныло сердце...

— Вася, а ты приедешь когда-нибудь? В отпуск хотя бы...

Вместо ответа, поборов смущение, Василий спросил:

— А ты могла бы поехать со мной?..

Позже, раздумывая над тем, почему все определилось так неожиданно быстро, Аня поняла: решил все один-единственный миг, один взгляд... Василий так доверчиво, с такой мольбой посмотрел на нее... И она поняла, что этот темноволосый парень и есть тот самый принц, о котором она мечтала, что он будет самым надежным и верным спутником жизни. Он никогда не подведет и ради нее пойдет на все.

И до Василия были у нее знакомые парни.. Дома, например, все уверены, что Аня выйдет замуж за друга детства Рудика Гурфинкеля, который живет по соседству и учится на физмате пединститута. «Рудик метит в аспирантуру. Умница, далеко пойдет!» — частенько говорила мать.

— Поеду! Поеду, Вася! Хоть на край света! — прошептала Аня. Сердце ее словно выпрыгнуло из глубокой ямы, забилось радостно, она прижалась головой к его сильной груди.

— Аня! Анечка! — вспыхнул Василий. И сразу стал таким красивым, каким она никогда еще его не видела. Он подхватил ее на руки, закружился вместе с ней на глазах у прохожих.

— Пусти, задушишь! — улыбнувшись, сказала Аня. — Лучше скажи, любишь или нет? Ни разу ведь не говорил...

— А ты будто не знаешь?.. У нас об этом не говорят, для чего глаза-то?

— У вас, у вас... А я хочу, как у нас! Ну, скажи хоть разочек, я слышать хочу!..

Василий обхватил руками ее маленькое, нежное личико и поцеловал в губы.

— Вот молодежь пошла, никого не стесняются, — ус-

лыхали они чей-то ворчливый голос и, опомнившись, побежали к университету.

Когда вечером Аня сказала родителям, что выходит замуж и уезжает, мать заплакала, бросилась к телефону, стала названивать сестрам, подругам. Две тетки, двоюродная сестра тут же примчались, накинулись на бедную девушку: «Одумайся, дурочка! Зачем ты жизнь свою губишь? Кто тебя гонит на край света?.. Это ж и представить себе невозможно — к дикарям, в тайгу едет!»

И лишь отец, тихий немногословный Иван Максимович, поначалу тоже удивленный неожиданным выбором дочери, присмотревшись к ней, вдруг спросил:

— Жалеть не будешь?

— Нет, папа.

— Желаю счастья, Аня. Я тебе верю.

В дальнейшие события он не вмешивался. Лишь когда мать переходила на крик, он бросал на колени газету и, затыкая уши руками, морщился раздраженно:

— Клава, нельзя ли потише! Бог знает, что подумают о нас соседи. Скажут, у Пановых когò-то режут!..

— Тебе бы только потише! — вскипела мать. — Дочь твоя с ума сходит, а тебе хоть бы что!.. Сидишь, как истукан!.. Нам тут только еще каких-то тунгусов не хватает!.. Да как я людям в глаза смотреть буду? Хорош зять, скажут... В Ленинграде не могли найти, из медвежьего угла выписали!..

— Мама, не смей так говорить!

— А как я должна говорить? Радоваться? Вырастили, выучили дочку... Нечего сказать...

— Аня, подумай, на кого будут похожи твои дети, — с деланным спокойствием говорила тетя Вера.

Но Аня твердо стояла на своем. Мало-помалу улеглись страсти. Радость не вечна, и горе не бесконечно. Наконец мать, вытирая слезы, сказала:

— Ты хоть приведи этого азиата познакомиться, что ли...

— Мама, если будешь так говорить, мы, не попрощавшись, уедем.

— Ох, Анька, Анька... Пропадешь ты со своей романтикой, — вздохнула мать и вышла из комнаты.

— Нет, моя дочь будет самая счастливая! — отец поднялся с кресла, обнял Аню и поцеловал. — Молодец, дочка, держись!..

Через три дня они уехали...

В Туре — одновременно окружном и районном центре — молодых специалистов встретили с радостью. С Василием беседовали в Большом Чуме и вскоре, приняв в партию, избрали третьим секретарем окружкома — позарез нужны были грамотные партийные люди. А Аня стала народным судьей района.

Первая зима показалась Ане длинной, темной и немного скучноватой. Поселок маленький, со всеми пере-знакомилась, все время только работа и дом. Выезжала в первую командировку на фабрику Кирамки. Это недалеко от Туры, на расстоянии дневного переезда на оленях. Хотя был уже март, днем появлялось солнце, но она все время мерзла, и это омрачало путешествие. Но зато какими чудесными показались ей весна и лето. Даже ленинградские белые ночи померкли! Здесь они — как чудо! Светло, словно днем, солнышко круглые сутки в небе. Ночью пройдет по краешку горизонта и снова поднимется. Хочешь, читай, а хочешь — так гуляй!.. Молодежь все ночи напролет бродит по поселку. Ни комара еще, ни гнуса. Без темных штор с непривычки и не уснешь.

А потом, разломав метровой толщины льдины, прошумел ледоход на Нижней Тунгуске. Прилетели первые птицы... Потеплело, и не узнать стало серых хребтов, окружавших Туру. В один день и горы и берега рек оделись в зеленый наряд, появились первые цветы, и Аня всему радовалась и удивлялась, как ребенок.

— Ты смотри, смотри, Вася, — смеялась она, прижимая к лицу лепестки красного цветка. — Я никогда и не думала, что здесь, на вечной мерзлоте, может вырасти такое чудо!.. Просто не верится. Как эти огоньки попали сюда?

— Так же, как и ты, — шутил Василий.

Восхищали Аню и летние эвенкийские стойбища. Козуообразные берестяные чумы на фоне зеленого леса, дымки костров на вечерней заре, игры и крики ребятишек в лесу, хороводные «ёхорьё», удивительные наряды женщин, мужчины с косичками — все это напоминало экзотические страны, книги об индейцах. И Аня чувствовала себя как бы в ином мире, одновременно сказочном и живом.

Однажды она набрала маслят (их почему-то никто

не собирал здесь), нажарила и предложила поесть старичку Каемному, в чуме которого они гостили.

— Разве моя мера олень? — рассердился старик и отвернулся от Ани. Она опешила. Потом только узнала, что эвенки не едят грибов, считая это лакомством оленьей.

Через день, стараясь замять недоразумение, Каемный, что-то говоря и улыбаясь, повел ее в лес. Пробравшись сквозь чащу, они вышли на полянку. Аня взглянула и — чуть не обомлела: ноге ступить некуда, вся полянка была сплошь усеяна крупной янтарной морошкой. Столько ягоды она никогда не видела.

После этого случая Аня сказала мужу:

— Теперь, Вася, дома будем разговаривать только по-эвенки. Учи меня языку, обычаям, таежной жизни. Все хочу знать.

— Хорошо, — обрадовался Василий. — Приедем в отпуск в Ленинград и будем разговаривать на неизвестном никому языке. И никто нас с тобой не поймет, если даже будем кого-то ругать.

— Пусть будет так... Я хочу знать о вашем народе все. Может, и пригодится. Ты, Вася, не представляешь, какой вы чудесный народ. Вы же настоящие дети природы, чистые, доверчивые, не испорченные цивилизацией. Вы не знаете, что такое замок, зачем он, потому что у вас не укладывается в голове — как это можно без спроса взять чужое. Вы представить себе не можете, что у людей бывают поганые, дурные мысли, а вы к этим людям — с открытой душой.

* * *

Ванчо Удыгир одет был в легкую, но теплую парку, в такие же добротные бакари. Руки его привычно стягивали ремешки на турсуках, потакуях, а думы в голове крутились тяжелые, мрачные. Словно огромный камень лежал на сердце. Взглянул он в последний раз, чтобы запомнить, на утонувшие в снегу по самые окна домишки, на сложенные кучками дрова, на прислоненные к стенам домов нарты, на темнеющую в стороне школу-интернат, откуда доносились крики ребятишек, и опять заныло в груди. Когда он увидит их снова? Там, куда его увезут, говорят, иной мир, другая жизнь. Дома и то другие, каменные. И сердца у людей, видно, каменные.

Разговаривать придется только по-русски, а он, Ванчо, толком так и не научился русскому языку. Старик Куманда, пожалуй, и то лучше толмачит. Хорошо еще, что Солнечная невестка пожалела его. Другой судья мог бы, говорят, не разобраться, накрутить невесть что, и тогда все двадцать пять лет были бы обеспечены. Ванчо слышал, как Чирков рассуждал: «Сейчас за такие штуки по двадцать пять лет дают, а то и к стенке!.. Строго стало. А она хочет добренькой выглядеть, не тот параграф статьи применила... Родовой закон!.. Да за него еще добавлять надо, чтоб не держались за темноту! Тридцать пять лет советской власти, а тут такая патриархальщина!..»

«Разве пятнадцать лет — это мало? Почти сорокалетним вернусь,— думал Ванчо,— если вообще вернусь».

По словам тех, кто побывал в тюрьмах, страшно там, волосы дыбом встают.

Ныло сердце, хотелось плакать. Только слезы нельзя показывать. Это женщины, слабые существа, могут позволить себе пореветь, как медведицы, но и то надо знать меру, чтобы окончательно не прогневить Духов. Мать его, Балба, за последние месяцы постаревшая и поседевшая сильно, совершенно перестала владеть собой — плачет и плачет. Ну, матери, может, и простительно. Шестерых детей, его братишек и сестреноч, проводила она в Нижний мир, а когда, переплывая озеро, перевернулся на большой волне и утонул отец, и вовсе чуть умом не тронулась. Ванчо помнит, как, плача навзрыд, не пытаясь даже сдержаться, она рвалась в озеро и просила воду вернуть ей Костаку, кормильца ее детей... Потом, дома, отрешенно сидела на шкуре, качаясь взад и вперед, спрашивала и проклинала Злых Духов: зачем съели они сердца ее детей, не оставив ни одной девочки? Зачем им понадобился еще и Костака? Как теперь жить в этом Срединном мире?..

Жутко становилось Ванчо, мурашки по коже бежали.

Мать, похоже, будет плакальщицей. К таким людям Духи снисходительны. Что с них взять, у них, как у лючи, слезы близко лежат. В последнее время мать любила «веселящую воду». Налиют ей спирта, и она готова оплакивать ушедшего в Нижний мир. И всякий раз просит покойника найти там ее детей и передать им привет, пусть, мол, не скучают, скоро придет к ним и она.

И Ванчо представляет: идет покойник по тому, Нижнему миру, среди голых, без листьев, деревьев, среди пожелтой травы, и приходит в чум, где живут его братья и сестры. Сообщает наказы матери. Те радуются, а Ванчо становится жалко их, сиротами ведь живут. И все же, наверно, не зря предупреждали мать люди, что не нужно бы так плакать и говорить такие слова, не надо испытывать терпение Духов, они могут разгневаться. «Ты же не лучи, это им можно, а нам — нельзя!»

Потом обнаружилась эта недостача... Кто мог знать, что новый закон не позволяет в долг отдавать муку и продукты? Купцы, говорят, раньше всегда в долг давали. Хотя, если уж откровенно, Ванчо знал, что нельзя, не положено общественное добро раздавать бесплатно... Не такой уж он темный, как мать. Все-таки четыре класса окончил! Он предполагал, конечно, что люди могут и не вернуть в срок деньги, но и отказать тоже не мог — не слепой, видел, как трудно живется сородичам. Детей-то чем-то кормить нужно...

Будь у людей деньги, разве кто-нибудь пожалел бы эти бумажки? С радостью отдали б, лишь бы не судили Ванчо. Когда началась ревизия, пытались собрать, да где такую кучу денег возьмешь? Собрали рублей триста, да разве могли они спасти, эти пятерки и десятки? Нужны были сотни, тысячи. Откуда у колхозников деньги? У самых удачливых охотников и то не шибко много бывает. Бухгалтерия колхоза какая-то больно мудреная. Не могут понять ее люди. Сидит бухгалтер за столом, шаманит с бумагами, толкует про какой-то дебет-кредит, сальдо-бульдо, а что это такое, поди, и сам Зарубин толком не знает. Пощелкает костяшками и говорит охотнику: «Ну, чо, бэе, Елдогир... Жидковато нынче ты поохотился. За тобою долг колхозу остается — две тысячи рублей!» Вздыхает Елдогир и уходит молча. А что ему остается делать?..

Жалел ли Ванчо о случившемся? Нет, не жалел. Только срок шибко большой отвалили. Солнечная невестка, пожалуй, права — надо ломать недобрые обычаи, рубить под корень, как она выразилась. Обычай дележа добычи, говорила она, хорош только для лентяев и бессовестных людей — жить за счет других, удачливых. Лентяи, положим, были во все времена, лежебок хватает и сейчас! А про бессовестных — нет, не права. Потерявших всякий стыд люди изгоняли из стойбищ, они

не имели права называться людьми. Нет, тут она малость перегнула палку. Да и нимат — не такой уж плохой обычай, как Солнечная невестка себе представляет. Это она по-своему рассудила, что он хорош только для лентяев и всяких бессовестных. Не жила Солнечная невестка во время войны в наших стойбищах. Если б не нимат, многих сегодняшних людей не было бы на этом свете. В каждой семье горе с бедой соседствовали. Это сейчас немного наелись, да и то не все. Семье Гирго Хукочара разве сладко живетесь?.. Если б Ванчо отказывал людям в продуктах, его бы никто не понял. «У тебя же полный магазин добра, — недоумевали бы люди. — Зачем же нам голодать? Мы же вернем, разве мы похожи на обманщиков?»

Вот насчет двух бочек спирта она, конечно, права. Ванчо со стыдом вспоминает, каким гордым он ходил по фактории: а как же, идет хозяин такого богатства! Со стороны, наверное, смешно было смотреть. Магазин открывал, когда просили, в любое время дня и ночи. Приедут из тайги, будят спящего. А что делать? Не станешь же отказывать, да и все равно не отстанут. Спирт охотникам и оленеводам тоже в долг давал, с ними и пил. Один раз вся фактория дня три на ногах не стояла. У всех в глазах небо с землей переворачивались. Ползали люди на четвереньках, берег озера оглашался песнями с плачем. Плакали некормленные ребятишки. Тогда один старик со старухой сгорели в своем чуме... Тут возразить было нечего, виноват, полностью виноват. Вокруг этого случая особо крутился следователь. «С кем конкретно пил? Назови? Ключи от магазина никому не передавал?»

«Со всеми пил», — отвечал Ванчо. Говорил то, что было. Зачем врать-то? Как-то еще ума хватило придержать язык за зубами, никого по имени не назвал. Тогда точно кого-нибудь посадили бы рядом со мной, статья групповая получилась бы. А у людей семьи, дети. Хорошо, что я не женился. Мать в последнее время все приставала: когда да когда свататься будешь, кому तोри готовить?.. Эх-хэ!.. И тут не повезло. Была одна девушка, Дептырик, она как-то по-особому глядела на Ванчо. А он стеснялся, косоглазие мешало быть смелым. Приехал в гости к родственникам с Виви один парень, он и увез ее...

Ванчо очнулся от своих горестных дум, съедающих

сердце, палящих душу. «Ху-у-ух!» — выдохнул он из рта струю белого пара, прокашлялся. Сгушалась серая мгла, над головой уже проглядывали звезды, слева поднимался огрызок луны, словно мороз откусил половинку.

Оленчики отбивали ритмичную дробь, и под скрип полозьев будто кто-то с хрипом выдыхал: «Ванё, прощай! Ванё, прощай!»

«Кто-то прощается со мной, — подумалось вновь, и он догадался: — Мама!»

Мысли опять убежали далеко-далеко...

Ванчо в семье был самым младшим, последним ребенком. Мать, как и все эвенкийские женщины, часто рожала, но выжили только двое старших сыновей — Христофор и Лекэ. Остальные умерли, не дожив и до году.

Ванчо появился на свет летом. Пришла мать в очередной раз из родильного чума и принесла завернутого в тряпки малыша, принесла, словно находку, случайно подобранную в лесу.

— Будущий охотник, — устало сказала она, а у самой в глазах тревога: выживет ли?

Ванчо выжил. Может быть, из-за того, что родился летом, в тепло, и до холодов успел немножко окрепнуть. И стал он любимцем родителей. Баловали они его.

— О, мое солнышко! — в редкие удачливые на охоте дни ласково тормошила мать сына, щекотала и нюхала его своим маленьким носом, вдыхая запах родного дитя.

Малыш улыбался. Отец отрывался от своих дел и тоже, довольный, поглядывал на них.

Ванчо чуть подрос, стал сидеть в зыбке и тут обнаружилась у него маленькая порча, дефект, как сказал заготовитель пушнины, — косоглазие. И чем старше он становился, тем заметней косил глазами. Позовешь его, поманишь рукой, а он, повернув головку, улыбается куда-то на сторону.

«Значит, не быть ему охотником», — горестно думал отец. Сжималось сердце от жалости к сыну. Еще любимей, еще дороже становился малыш отцу с матерью.

С Ванчо у отца были связаны последние тайные мечты и надежды. По молодости Костака не принимал участия в воспитании старших детей, все некогда было. Мать занималась. Он должен был только научить сыновей держать ружье и маут. Ванчо же он решил передать весь свой житейский опыт, всю мудрость и умение рук.

— К трем годам Костака сплел для сына детский маут. Мальчик ловил им телят, щенков, с которыми играл возле чума.

— Порча глаз — не беда. Оленеводом будет! — радовался отец.

Ванчо росточком был маленький, и родители не спешили отдавать его в школу. В Кочевом Совете спрашивали:

— Когда ему в школу?

— Рано еще. Видите, он совсем маленький, неокрепший, — отвечала мать, а сама думала: «Пусть кочует с нами, тайгу лучше будет знать. Да и веселее с ним — есть о-ком заботиться». Иногда при людях вслух рассуждала: — Теперь всех ребятишек учат в школах. Это, конечно, неплохо, что будут они знать язык бумаги. Но неужели все станут начальниками? Кто будет добывать белок, смотреть за оленями? Тут непонятно... Вот молодежь окончила нашу школу, а какой толк в этом? Все равно, как и мы, неграмотные, сидят в чумах, греют котлы и чайники. Нет... учеба только от дела отрывает, ребята тайгу забывают. А с девочками, с женщинами как? Раньше, до войны, на всех сугланах до хрипоты кричали: «У женщин ума нету!.. Женщина — не человек!» Но потом власти убедили мужчин, что женщина такой же человек, не глупее мужиков. Тут чистая правда. А как женщины могут быть равны с мужчинами? Тут маленько непонятно... Если мы, женщины, будем равняться с мужьями, отец Ванчо мне скажет: «Балба, ты сидела вчера в чуме, варила котел, а я бегал по тайге, на лыжах гонялся за Большим мясом, маленько устал. Сегодня я буду лежать дома, греть у костра живот и чайник, а ты одевай мою парку, бери ружье и иди на охоту... Мы равны!..» Мужик-то котел сварит, а мне как быть? Сохатого я не догону, да и стрелять не умею. Как же нам равняться с мужчинами?..

Старикам и старухам, сидящим в чуме и неторопливо сосущим трубки, слова матери казались умными и убедительными. Начинали вспоминать смешные случаи на сугланах, кто что говорил про женщин, и, порассуждав, приходили к выводу: да, Балба в чем-то права.

Потом с отцом случилась беда на озере, и Ванчо отдали в интернат. Ему уже было лет десять. Маленько-то грамоту, все равно надо знать, убедили старшие братья мать, да к тому же в интернате кормят и одевают. А

мать, пока Ванчо учится, будет кочевать и помогать среднему сыну Лекэ, живущему своим чумом.

Ванчо посадили сразу в первый класс. Малышня, прочившаяся год в нулевом, уже знала буквы, цифры, бойко выкрикивала какие-то русские слова и держалась уже уверенно, а Ванчо, сколько ни всматривался в книгу, не мог сообразить, что от него требует молодая учительница. Помучившись с ним месяц, она передала его в нулевой класс к совсем маленьким ребятишкам.

Думая о школе, Ванчо чаще всего вспоминал учителя нулевого класса Иннокентия Петровича Салаткина. Это был коренастый, красивый мужчина. Он тоже, как и Бахилай Комбагир, учился в Ленинграде, только до войны, и был одним из первых эвенкийских парней, окончивших институт Народов Крайнего Севера. Салаткин — катангский эвенк, с самих верховий Катанги — Нижней Тунгуски. Там эвенки давно живут вместе с русскими, поэтому они не только хорошо понимают язык, но и развитее сириндинских. В Туре все начальники из катангских эвенков. В начале войны Салаткина увезли в темный дом, а оттуда он попал на фронт. Вернулся на Сиринду моряком Балтийского флота.. Ордена и медали, как колокольчики, позвякивали на груди... Кровью искупил свою вину перед Родиной. А кто виноват был? Они, ребятишки, в том числе и он, Ванчо...

В интернате часто кормили «русской едой» — кашами, компотами. Компот-то ладно сладкий, его все выпивали, а ягоды оставляли на столе. Вываливали специально, зная, что их подберет Чиба, смешной мальчишка, обжора и сладкоежка. Когда он хотел есть, никого не стеснялся. С алюминиевой кружкой обходил длинный стол и, не обращая внимания на шутки и поддразнивания ребят, собирал ягоды с косточками. Ягоды Чиба съедал, а косточки складывал в карман штанишек и потом обухом топора раскалывал на полу. По праздникам, наевшись сладостей, он еле вылезал из-за стола и, хлопая себя рукой по заметно раздувшемуся животу, кричал на весь коридор: «Первый май накормил! Первый май накормил!»

А кашу почему-то никто не любил. Ее почти целиком вываливали собакам. Их всегда целая свора крутилась возле интерната. Конечно, большой грех выбрасывать еду, но что оставалось делать, если она не лезла в рот?

В такие дни, если на ужин бывала только русская еда, ребятишки ходили на «рыбалку».

Рыбачили... из мерзлотника. С самого начала лета почти все охотники занимались непривычной для себя работой — строительством большого и длинного сооружения, напоминавшего зимнее голомо¹. Поставили его в овраге, на краю фактории. Сделали широкую дверь и водрузили на крыше деревянную трубу. Осенью, когда во внутрь мерзлотника стали на шуках таскать лед, снег, ребятишки разглядели, что труба-то без печки, просто так, дыра, и все. А зачем? «Рыбе и мясу воздухом дышать!» — сказали взрослые. «Как это?» — удивлялись ребята. «А вот так». — Куманда; надув щеки, начинал дышать, как кузнечные мехи. Ну, посмеялись тогда, и никому в голову не пришло, что эта труба сыграет роковую роль в судьбе заведующего интернатом. Кто из ребятишек догадался лазить в нее, сейчас уже не вспомнить, но, наверное, кто-то из братьев Чирончей — они были самые хулиганистые. Трое братьев учились тогда, все непоседливые, драчливые. Где какой шум возникал, там обязательно они были замешаны, такой уж у них род. Двое старших, Андрюшка и Хосон, можно сказать, были уже мужичками, по два-три года сидели в каждом классе. В войну, когда все жили на скудных пайках, весь интернат-ходил у них в должниках. Ни с того ни с сего они могли пнуть парнишку или девчонку и сказать: «Ты мне должен пайку масла!» И попробуй не отдай. Они тебя так изобьют, не обрадуешься... Не только масло, все что угодно отдашь.

Той же осенью в один из темных вечеров Андрюшка и Хосон принесли в интернат маут и, позвав с собой Чибу, куда-то ушли. Через некоторое время вернулись с двумя большими рыбинами, Чирами!.. С того вечера и началась «рыбалка». И лед не долбили, и сетей не ставили, а улов всегда был отменный, и рыба самая вкусная — чирь, таймени, линки.

Все оказалось просто. Чибу привязывали под мышки маутом и опускали в трубу. Он выбирал лучшие рыбины, братья за хвосты их «вылавливали». Выудив сколько нужно, поднимали Чибу.

Почти каждый вечер перед сном начинался еще

¹ Голомо — жилище эвенков.

один ужин. Мерзлую строганину, вернее рубанину — рыбу рубили топором, выкладывали на стол и безо всякой соли наедались досыта. Вот это была еда, во рту таяла! Тут Чирончи милостиво позволяли есть всем, но не бескорыстно, а за какую-нибудь услугу, в обмен на вещь, на табак, на кусочек сахара... Нехорошие люди были эти Чирончи!..

Заведующий интернатом как-то застал ребятшек за вечерней трапезой. Стоя в дверях, он только усмехнулся, понимающе покачал головой и спросил:

— Что, кто-то с Гонды приехал?

— Да, Чибин брат, Датуча. — Андрюшка поспешил ткнуть Чибу в бок, молчи, мол, смекай. Тот сильно испугался, и, спрашивая тогда Иннокентий Петрович понастойчивей, ребята, конечно, признались бы, но он больше ничего не спросил.

Потом «рыбаков» поймали. В интернат приходили председатель колхоза, бухгалтер, председатель Кочсовета, все ругались с Салаткиным, кричали на него, что он неправильно воспитывает ребят, воровство поощряет. Дело дошло до суда.

Может, все как-нибудь и обошлось бы, но, говорят, Салаткин сам признался: догадывался, мол, откуда рыба бралась, да жалко было полуголодных ребят, вот и махнул рукой. Кроме того, и выяснять-то ему особо некогда было — крутился целый день на работе. То одно надо достать, то другое сделать...

Теперь, оглядываясь назад, действительно веришь, что заведующему интернатом приходилось крутиться, как белке в колесе. Ни завхоза, ни рабочего в интернате не было. И дровами, и продуктами, и водой, и одеждой для ребят — всем сам занимался. И уроки еще вел...

Судья, фамилию которого Ванчо хорошо запомнил, Морозов, тогда сказал:

— Наша многонациональная страна ведет невиданно страшную войну, какой еще не знало человечество. Народ, можно сказать, напрягает героические усилия, чтобы одолеть ненавистного фашистского зверя, а некоторые безответственные элементы из числа грамотных национальных кадров поощряют подрастающее поколение на антиобщественные поступки, тем самым подрывая мощь социалистического Отечества, а конкретно — колхозное производство. И, чтобы не было по-

важно другим разбазаривать народное добро, суд выносит приговор: шесть лет тюрьмы строгого режима или отправка в штрафные батальоны на передовые позиции фронта.

* * *

— Лепешка! — председатель колхоза, слегка усмехаясь, окликнул Гирго Хукочара, разгружавшего тонкий макаронник — сырые-лиственничные дрова у колхозной конторы.

Гирго поднял глаза.

— Завтра в лес не ездят, слышь? Скажи матери, пусть собирает тебя в дорогу. Поедешь проводником с Солнечной невесткой. Понял?

Чего же не понять? Но — не ослышался ли?.. Гирго обрадовался, но тут же и устыдился: «чего это я как мальчишка?» Подумаешь, ехать в Туру!.. А в мыслях помимо воли ликование: «Надо же, а? Могли ведь другого послать, а вот ведь — меня, меня выбрали...»

Как мало человеку надо. Ничего ведь, в сущности, не произошло, всего несколько слов сказал председатель, а как все переменялось в душе. Даже день вроде теплее стал. Только что он, Гирго, раздумывал: надоело, мол, мерзлые дрова возить, а завтра опять ехать.. Теперь все — пусть один Чибя дровами занимается. Хоть шевелиться будет, а то спит на ходу...

Такая получилась нежданная радость, что Гирго даже сердчишко свое услышал. Волнуется, трепещет оно, как птица в клетке. Хэ, спасибо, Ануфрий! Обрадовал! Хороший ты председатель!..

Побывать в Туре, в Виви, в Мурукте, в других дальних и ближних факториях, а когда станешь взрослым, то посмотришь и каменные города, — разве есть мальчишка, который не мечтает об этом? Обидно, что мужчины, отправляясь в Туру за товарами, не берут с собою ребят. «Лишний груз, лучше еще один мешок муки привезти!»

А ездить всем интересно. Кочевье, видно, у каждого эвенка в крови. Только в морозы отсиживаются в чумах. Чуть потеплеет, и сразу аргишат на новое место, встречаются со знакомыми и незнакомыми людьми. Сколько необыкновенных рассказов потом бывает!

Долго-долго вспоминают: кого видели, что слышали.

По словам грузчиков, Тура с каждым годом расширяется, домов стало видимо-невидимо; есть очень большие дома, окна на окнах сидят, всю окрестность загродили, ничего не видно. Заблудиться теперь можно в Туре-то. Старик Куманда смеется: «Поеду в Туру, прихватю с собою пальму. Буду на углах домов затесы делать, чтобы не потерять обратную дорогу».

«Только бы мне не заблудиться в Туре, — думает Гирго, и сразу же он представляет, как едет он по поселку, почему-то очень похожему на его родную фабрику».

— Надеюсь, не потеряешь уполномоченных-то? — глядя на вспыхнувшее лицо мальчишки, понимающе усмехаясь, говорит председатель.

«Ну вот еще, маленький я, что ли?» — хотел обидеться Гирго, но на всякий случай промолчал: вдруг да передумает Ануфрий, пошлет другого.

Видно, у Эмидака хорошее настроение, решил Гирго, — по прозвищу обратился. А Гирго что? Нет, не обижается он на свое прозвище. Оно еще в школе к нему прилипло. И ведь из-за чего вышло-то? Из-за сказки, которые Гирго очень любил. Он и сейчас готов целыми ночами слушать. Еще совсем маленьким впервые услышал самого знаменитого сказителя среди сириндинских эвенков Максима Боягира, умевшего силой и мощью своих слов поднимать упавших духом людей. По нескольку ночей он мог рассказывать героические предания. С ним темные зимние ночи не казались такими бесконечно долгими. Поочередно приглашали его в чумы; сами недоедали, а для сказителя всегда сберегали кусочек мяса. Зимой Боягир становился главной фигурой в стойбищах. Старики говорили: весна для песен, а зима — для сказок.

Гирго учился во втором классе, и учительница Анна Феофановна Каплина, которую все ребятишки звали Анханной, маленькая, по-матерински добрая женщина, из катангских эвенков, вызвала Гирго к доске и попросила пересказать русскую сказку, которую читали накануне. Гирго даже обрадовался, что такой легкий вопрос достался; сказка ему понравилась, он ее хорошо помнил. Хотел было уже начать, но, как на грех, вылетело из головы имя героя. На кончике языка вертелось и никак не срывалось.

— Гирго, неужели забыл? — прохаживаясь между партами, говорила учительница. — Вспомни...

Ребятишки заерзали, некоторые потянули руки, а Гирго морщил лоб, мучился, чуть не плача, и — о, счастье! — лицо его озарилось, он облегченно вздохнул: вспомнил. Заторопился:

— Лепеска катисса, катисса, а навстречу болк! Лепеска, лепеска, я тебя съем!

Класс почему-то так и грохнул со смеху. И Анханна тоже смеялась.

— Гирго, не лепешка катилась-то, а колобок, — поправила его учительница.

С тех пор прозвище и прилипло к нему...

...Приподняв шкуру, служившую дверью, Гирго прыгнул в чум, гулко застучали его мерзлые бакари пэт, пэт!

— Харги! Харги! Что делается?! — испуганно вскрикнула мать. Она так и замерла с вытянутыми белыми руками. Месила тесто. Увидев сына, недовольно заворчала:

— Чего, как дикарь, летишь, так чум свернуть можно!

«Э, поворчи, поворчи», — радостно думал Гирго. Душа у него пела, и такая мелочь, как испуг матери, не причина для огорчения. Да он и знал, что так получится. Мать давно уже стала такой, все даже настоящее имя ее забыли, называют просто Олон: пугливая значит.

Успокоившись, мать спросила:

— Кто за тобою гнался, что ли?

— Никто не гнался.

— Зачем же тогда в чум так влетать? Напугал до смерти...

— В Туру поеду!..

— В Туру? Что там забыл?

— Солнечную невестку и милиционера повезу.

— Что, мужчин не нашли?

— Я не маленький! — рассердился Гирго.

— Большой! А ума на игру...

Гирго молча снял бакари, начал выколачивать палкой снег.

— На улице надо обувь чистить, сколько можно тебя учить! — раздраженно заметила мать.

Парнишка вышел из чума и в темноте, связав визками бакари, повесил их на дерево, рядом с паршой. Ворчание матери не омрачило его радости.

* * *

Безмолвен мир, холодный, безжизненный.

Только шелканье копыт, скрип нарт да глухой звон ботал нарушает эту вечную тишину. Кругом бело и мертво.

С речки, замедлив бег, олени, тяжело дыша, еле поднимаются на заросший кустарником берег, укрытый мягким пухлым снегом. Исчез туман. В лунном свете открылась широкая тундра с темными пятнами стелющихся кустарников. Далеко на горизонте угадывался лес. Дорога петляла, огибая возвышенности с одинокими высохшими деревьями, сухостоем, пнями и глубокими ложбинами. Осколок нарождающейся луны появлялся то слева, то справа от каравана, то вдруг забегал вперед. По одной тундре можно накрутить десятки лишних километров.

На ровном месте скрип нарт убаюкивает, хочется спать, но Аня знает: расслабляться нельзя, уснешь и не заметишь, как обморозишься.

Пока ехали по озеру, Гирго не выказывал ей никаких знаков внимания, даже ни разу не оглянулся, не посмотрел — здесь ли она, не выпала ли из нарт? А долго ли выпасть? Нет, надо было все же взрослого мужчину проводником брать. Аня посмотрела вперед. На нартах небольшим комочком темнела фигура парнишки. «Не замерз ли?» — теперь уже Аня пожалела его.

Как только выехали в тундру, Гирго стал то и дело оборачиваться назад, на свою пассажирку. Аня видела светящийся огонек его самокрутки. «Мальчишка совсем, а уже курит...» — с сожалением подумала она.

Аня застыла вся от неподвижного сидения. Конечно, ей бы шевелиться, ворочаться — движение, как говорится, жизнь, но она слишком толсто и неукложе одета, да и боязно шевелиться-то: попадет под сокуй холодный воздух, тогда еще хуже, еще труднее будет сберечь тепло.

Между тем тундра осталась позади, караван неожи-

данно очутился в крошечной тьме — въехали в мелкий, но густой лиственничный лес, частоколом окружавший дорогу. Исчезло полжелтка луны, спряталось где-то за деревьями. Аня высунула нос, выдохнула — пара не видно. Или в лесу, действительно, теплее?

Надо бы остановиться, передохнуть и людям, и оленям. Размять руки, ноги, сходить по своим делам. Вот, смеялись на фактории, а что поделаешь... нужно...

— Гирго! Гирго! — кричит Аня.

Мальчишка оборачивается.

— Тандерить, чикондерить будем!

— Хэ! — смеется Гирго и дергает повод, бросая рядом с передовым оленем хорей. Тот сразу останавливается.

Олени дышат тяжело, даже в темноте видно, как ходит шерсть на их животах. Закуржавевшие морды все взъерошены, из ноздрей свисают сосульки, блестят большие глаза. Бедные оленчики!

Аня еле поднимается с нарты — отсидела ногу. Начинает приплясывать.

Подъезжают Ванчо с Чирковым. Слышно, как милиционер, тоже кряхтя, встает, подходит к Ане.

— На ночь-то вроде сильнее жмет, — говорит он, потом сморкается громко и, стянув рукавицу, ищет что-то у себя на груди, протягивает:

— Согреться не хочешь?

— Спасибо, — догадывается Аня.

— А я без этой штуkenции давно бы уже дуба дал, — говорит Чирков и, отвинтив колпачок, запрокидывает голову. Потом он хватает рукою снег и — в рот. Покрякал, прокашлялся удовлетворенно и снова протянул Ане фляжку:

— На, у меня еще есть. Зарубин снабдил.

— Ну что вы... — смущается Аня. — Потом я уж точно превращусь в сосульку.

Парням спирту он не предлагает, прячет фляжку, закуривает. Светятся огодьки сигарок. Аня топчется на месте, приплясывает.

— Сильнее прыгай, — советует Гирго, — пока силы есть.

Он хотел сказать: прыгай, что есть сил, но Аня и так поняла. Прыгает, старается. Через минуту чувствует — все, устала, задыхается, дышать нечем, а дышать нужно, как учили, — через нос. Говорит, чуть не плача:

— Черта с два так согреешься... Давайте лучше поедем.

— Меня тоже черт попутал с этой работой! — раздраженно бурчит милиционер. — Надеюсь, это моя первая и последняя командировка. Ну его к бабушке, этот Север!.. — И он отходит к своим нартам.

* * *

Ох, уж это эвенкийское «однако, маленько» при определении расстояний. Ни с чем нельзя сравнить. В анекдоты превратилось. Аня спросила Гирго, далеко ли до Дудыпты, где стоит чум охотника Мукто, он ответил: «Однако, маленько!» — «Ну сколько маленько?» — «Однако, километров двадцать, а может, тридцать».

Три часа, это уж точно, бегут олени, тайга сменяется тундрой, кончается тундра — начинаются болотины и озера, те в свою очередь уступают место лесистым островам, но обещанной речки все нет и нет, как нет и желанного чума. Так ведь можно совсем замерзнуть!

Ануфрий Эмидак объяснял, что первый чай (он почему-то так и сказал — «первый чай», а не ночевка) будет в чуме Майчи Мукто, что стоит в устье Дудыпты. Там проходит дорога на Туру. Вторая ночь тоже должна пройти в тепле. На расстоянии дневного аргиша живет другой охотник Ельда Елдогир. А дальше уже самим придется выбирать места для ночевки и спать возле костров.

Так сколько же, интересно, километров это «однако, маленько»? По всем меркам пора бы уже быть чуму. «А вдруг этот Мукто откочевал в другое место? Вдруг волки разогнали его оленей и он сменил свой табор? Да мало ли что может произойти в тайге?» Страшно только от одной этой мысли. Аня замирает, потом начинает сжимать и разжимать руки, трет онемевшие ноги и чуть, про себя, постанывает: «Ну когда же будет чум, когда?»

Она готова была уже совсем отчаяться, как вдруг впереди раздался дружный собачий лай. «О боже, наконец-то!» — обрадовалась она.

Олени, почуяв близость жилья, веселее забрякали колокольчиками и ускорили бег.

В неясном, бледном свете обломка луны проступил

темный конус островерхого чума, выплескивающего рой золотых искорок, мелькавших и исчезающих на фоне звездного неба.

Никто не вышел встречать их. Зачем? Имеющий достоинство хозяин не будет проявлять любопытство, как мальчишка. Приехали — значит, не обойдут чум, напьются горячего чая, развяжут языки и, если нужно, расскажут, куда и зачем путь держат.

Аня уже на себе испытала удивительную простоту, человеческих отношений на Севере. Здесь все делается молча. Незнакомому с Севером человеку эта молчаливость кажется несколько странной. Но надо знать здешних жителей. Суровая природа упростила их характеры, сделала бесхитростными, до наивности открытыми, добрыми и очень сострадательными людьми. Во всем, даже в мелочах.

Помогае собирать в дорогу, Василий прочел ей целую лекцию о том, как вести себя:

— Будь, пожалуйста, откровенна во всем, — сказал он. — У нас не любят неискренних, хитрых. И присматривайся к таежной жизни, запоминай любые мелочи, они всегда пригодятся. Эвенк ничего не будет делать зря. Не все было плохо в нашем прошлом, кое-чему следует поучиться у стариков. И чум, прошу, не ругай, не называй его убогим и дымным. А то, смотрю, у некоторых он становится синонимом всего отсталого, темного. Что поделаешь, если раньше у нас не было лучшего жилища? Ведь чум тоже не сразу стал таким, как теперь, чумом, это тоже результат опыта и мудрости целых поколений. И запомни: тайга и ее обитатели любят тех, кто уважает их законы. Не морщи нос, — есть у тебя такая привычка, — а то подумают, что ты чем-то брезгуешь. Короче, чай пить в чуме ты должна, как все, из блюда, — обжигаться не будешь, наливают-то кипяток. Сидеть тоже по-эвенкийски, — так удобнее, да и места меньше займешь, портянки и те надо заворачивать по-нашему — иначе можешь остаться без ног...

Милиционер, оказывается, спал. Ванчо растолкал его, и он, весь окаменевший, с трудом разогнул ноги, еле поднялся. Пошатнулся и уперся руками в нарту. Какое-то время так и стоял.

Гирго помог раздеться Ане.

Чирков, окончательно проснувшись и придя в себя, сбросил лишнюю одежду и, тоже, как Аня, оставшись

в телогрейке, деревянно переставляя ноги, зашагал между нартами к чуму. Нашарив в темноте дверь, он полез внутрь, и, как часто бывает в таких случаях, зацепился чем-то, наверное, пуговицей, за шкуру, стал дергаться, да так, что чум зашатался.

— Эбэй! Уронит! — в чуме испуганно вскрикнула женщина.

Вошли, поздоровались и протянули руки к гудящей печке. За печкой в самодельном подсвечнике, воткнутом в землю, горела свеча.

Хозяин чума Майча Мукто, пожилой человек, с крупной для эвенка коренастой фигурой, с реденькой бородкой и живым привлекательным лицом, как и все таежники, нестриженный, со спутанными волосами, в которых торчали оленьи шерстинки, сидел раздетый, в одной хлопчатобумажной рубашке, в таких же легких, неопределенного цвета штанах и босиком. Видимо, он спал и только что вылез из мешка. С нескрываемым любопытством вглядывался он в лица вошедших и, не найдя знакомых, отвернулся, начал искать меховые чулки.

Хозяйка — ее звали Мария, лет тридцати симпатичная женщина, одной рукой загоразивалась от печки и света, второй шуровала в большом черном котле. Вся печка была окружена котлами и ведрами. Чайник стоял чуть в стороне, из носика шел пар — видно, его только что сняли с огня. Вкусно пахло мясом и свежей хвоей.

Накинув на плечи телогрейку, Майча нашел трубку, железным крючком, привязанным к кисету, выковырял нагар, деловито поколотил о полено, продул и оставил трубку во рту. Потом, так же не торопясь и молча, набил ее табаком и, придавив пальцем, потянулся к свече прикурить.

Аня и Чирков все еще, охая и ахая, топтались на месте.

— Там, — произнес Майча и показал рукой куда-то за спину.

Аня поняла, выдернула из-под оснований жердей аккуратно сложенную оленью шкуру, расстелила ее и села. Чирков присел на дрова.

В жилище все прибрано, ничего лишнего нет, оттого чум кажется просторным. У оснований жердей аккуратно сложены турсуки, потки с охотничьим провиантом, продуктами. Все это прикрыто суконными зипунами, шкурами. На половине хозяев висели около десят-

ка беличьих и горностаевых шкурок — дневная добыча. На земле плотно, один к одному, были уложены тонкие жердинки, сверху усталые свежими еловыми ветками. От них шел приятный запах.

Достаточно было попасть в жилище, к теплу, и мороз, еще минуту назад выжимавший из глаз слезы, сводивший руки и ноги, словно забылся. Исчезли и тревожные мысли. Как мало нужно человеку, чтобы почувствовать себя счастливым...

Аня и Чирков оттаивали.

«Не буду ничего говорить, — решает Аня, — собственно, какое мое дело? Живут, значит, им так нравится. Скажу в райкоме, что не видела их... А все же любопытно: как это она, молодая, симпатичная женщина, вышла замуж за пожилого человека, да не просто вышла, а стала его второй женой? И притом сама, добровольно?! Может, надо родиться в чуме, и тогда на многие вещи будешь смотреть просто и обыденно. Господи, да разве можно знать, что думает человек? Нет, это точно сказано: чужая душа — потемки».

Аня видела на фабрике первую жену Маичи. Старуха — старухой, сморщенная, слепая. Ануфрий с Марией рассказывали: она, Делтырик, мол, сама настояла, чтобы он взял вторую жену. Любила его и заставила. «Я слепая, как ты будешь один кочевать, охотиться? Иди, сговаривайся со стариком Богото, у него славная дочь, хозяйственная, трудолюбивая. Иди, никого не слушай...»

Сын Марии и Маичи, десятилетний Микулашка, старуху Делтырик зовет мамой и водит ее по фабрике за посох. Маича с Марией заботятся о ней: уходя на охоту, готовят дрова, привозят из тайги мясо, рыбу. Что о них можно дурного сказать, в чем обвинить? Хотя, конечно, двоеженство искоренять нужно как пережиток прошлого. А с ними теперь что делать? Заставить разойтись? Разворошить, разрушить их жизнь?

Маича пододвинул к жене чайник, и она начала рыться в своей «кухне». Выставила доску с маленькими гагарьими ножками, поставила на нее кружки с блюдами. Так заведено в тайге: гостю прежде всего нужно подать чай. Он согреет и желудок и душу, развяжет язык. Новостей у всех много, надо обменяться ими.

Вошли Гирго и Ванчо. Они управились с оленями,

самым неимким, которых потом трудно будет поймать, надели «башмаки» и отпустили кормиться.

Мария налила им чай. Они тут же, не раздевшись, выпили, дуя на блюдца. Старик снял с печки котел, пододвинул его поближе к жене. Она знает, что делать.

— Третьего дня ездил на гари, к вершине Дудыпты, — наконец заговорил Маича. — Нету нигде белки. Ушла. С осени-то была. Гнезда густо попадались, грибы на пенечках сушились. Сейчас ушла. Чуяла, видно, холодную зиму, вот и подалась в темные ельники. Пустые гнезда остались, следы реденькие...

— А салом где разжились? — как взрослый, спросил Гирго.

— Э, мужичок, наше сало по тайге гуляет! — смеется Маича. — Там же, на гари, собаки выследили бычка. Комолого, как важенка. В гон-то пообломал рога... Но, что удивительно, не весь жир растерял во время игр, мясо все в белых прослойках. Во время гона сала у него, поди, в ладонь было, не меньше.

Намолчался старик, хочется ему поговорить, рад он гостям.

Мария вывалила мясо на сковородку, оно дымится. Прямо на доске горкой сложены розовые кусочки костного мозга — лучшего в тайге лакомства.

Аня берет мясистое ребрышко и подает Чиркову.

— Ешьте, Николай Васильевич, — и, взглянув на его хмурое, недовольное лицо, спрашивает: — Вы не больны?

Чирков помедлил, но мясо взял. Снова, как днем, полез рукой под телогрейку, вспомнил слова Зарубина: «Со спиртом, паря, никакая холера к тебе не приста-нет!» — вытащил фляжку.

— Надо маленько подлечиться!.. Ну как, старина, багдарин¹ будем пробовать? — обратился к хозяину.

Мукто, увидев фляжку, оживился, глаза заблестели.

Мария живо подала фарфоровые чашки, хранившиеся для такого случая в деревянном ящичке. Чирков наполнил одну, другую, третью и, держа на весу руку, посмотрел на Аню. Та, заметив, отрицательно покачала головой, тогда он завинтил фляжку, убрал за пазуху.

— Молодежь не будем совращать. Пусть подрастут, — кивнул он в сторону парней. — Молоко еще на губах не обсохло!

¹ Багдарин — белая. Так эвенки называют водку.

Предвкушая удовольствие, старик поддакнул, хотя в другой раз не согласился бы с ним. Парни заметно опечалились. Но Чирков сделал вид, что не заметил этого.

— Ну, как говорится, поехали!.. Ух! — выдохнув из себя воздух, он опрокинул в рот чашку и, сморщившись, схватил кружку с водой, запил. — Злая, стерва!

Старик со своею чашкой что-то медлит, но потом все-таки решается и тянет неумело, маленькими глотками, словно заталкивает через силу. Чирков, взглянув на него, снова морщится.

Все, кроме хозяев, наваливаются на мясо, аппетитно едят.

Через минуту-другую спирт делает свое дело, и старику становится хорошо: приятно кружится голова, полностью развязывается язык. Ни робости перед незнакомыми людьми, ни стеснения не осталось. Мукто шутит:

— Ничего, Гирго! Скоро в Туре будешь! Там этой «веселящей воды» много... Зайдешь к Мефодьке, нашему другу, скажешь: «Дорово!» «О, друг приехал! — закричит он. — Здравствуй, здравствуй, друг! Садись за стол, пить, гулять будем!» Подадут Гирго кружку, он посмотрит, скажет: «Вода! Зачем воду даете?» Выпьет, плевать будет, слезы побегут! Ха-ха-ха!.. Мефодька смеяться будет: «Как вода?» Гирго тоже будет ругаться: «Зачем такую горькую воду пьете? Дураки вы!» Посидит маленько: «Что такое? Почему, — скажет, — в животе жарко стало, кто туда каленых углей накидал?» Вспомнит: «Нет, никто в животе костер не разводил». Еще маленько посидит — опять: «Что такое? Почему пол закачался? Почему крутится? Э, — подумает Гирго, — это же я на оленчике в Туру еду...» Ха-ха-ха!.. — Старик заразительно смеется.

Марии тоже весело, даже Ванчо улыбается. Аня растолковывает слова старика Чиркову. Тот тоже смеется и говорит:

— Глядишь, и за волосы с кем-нибудь потаскается!..

— Аха... «Почему голова болит?» — будет потом спрашивать, кто плашкой давил? — добавляет старик, и все опять смеются.

— Нет, Гирго смирный будет, весь в отца. Отец-то у него как старый учуг был, — говорит Мария. — Ни с кем не ругался, не дрался. Выпьет немножко и сразу падает. Ноги не держали. Лежит, песни поет... Гирго будет

такой же. А песни петь, пусть поет. Когда на душе хорошо, почему бы не спеть, так, Гирго?..

Гирго молчит, занят едой, обгладывает старательно оленьи ребрышко.

Вытерев руки о телогрейку, Чирков снова вытащил фляжку.

— Что, старик, плеснем им? — кивнул в сторону парней и пошутил: — На сухую-то мясо, поди, застревает в горле!

— Аха, аха, — соглашается Мукто. — Пускай маленько погреются, хорошие ребята...

— Я не буду, — заявляет Гирго, занятый костью.

— Молодец, не учишь. Как тебя, Лепешка, да? — смеется Чирков. — Я тоже не любитель, да вот, по нужде, приходится...

Гирго помалкивает, жует мясо, работает ножом. «Ну вас, теперь до утра будете всякую ерунду молотъ».

Ванчо нехотя взял чашку. «Если б перед началом еды — думает он, — а сейчас — что, только добро переводить... Ладно, спать крепче буду...»

Потом Ванчо берет в рот костный мозг, тянется за увесистым куском мяса. Хороша свеженинка! После мороза ох и вкусна! Это Чирков, не привычный к такой еде, никак не может справиться с одним ребрышком... Ванчо прихватывает крепкими зубами мясо и резким взмахом ножа у самых губ отсекает кусок. Они с Гирго не стесняются, едят досыта.

Мария вышла на улицу, принесла полное ведро снега. Поставила на огонь.

Старик совсем оживился. Смотрит на Гирго и продолжает:

— Э, молодец, Гирго!.. Там, у Мефодьки, продерешь глаза: «Где я?» Темно, ничего не видно. Голова — ой, ой, ой!.. Плашкой кто давил? Мефодька подаст тебе кружку: «Давай, друг, голова лечить будем!» «Нет, нет, нет!» — замотает головой Гирго. «Давай, привыкай, молодой еще!» — смеяться будет Мефодька. Возьмет Гирго кружку, они стукнутся по-русски: «Давай!» Маленько посидит: что такое? Верно, светло становится, кто солнце зажег? «Все, хорошо теперь стало, — скажет Гирго, — пойду невесту искать!» Так, Гирго? — Маича рассмеялся.

— Нет, я никогда не женюсь! — бурчит Гирго, не переставая жевать.

— Молодой еще, — машет рукой Маича.

— Хэ, Гирго никогда не женится?! — удивляется и Мария.

— Женишься, — громко говорит Маича. — Может, еще русскую в жены возьмешь! Нос у нее большой будет, лицо крашеное...

— Кире! — Мария толкает мужа в бок. — Что он с такой-то делать будет?

— Спать!

— Спать... А кто ему на охоте помогать станет?

— Может, он у нас каким начальником будет!.. — не сдается старик.

— Ну да... начальником... Гирго не Бахилай...

— А вот жена Бахилая сидит... Анванна. — Гирго вытирает нож об еловые ветки и весело смотрит на хозяев.

— Что чепуху-то мелешь! — с упреком, почти обиженно говорит Мария.

— Сами вы чепуху мелете! Приезжала вон за ним. — Гирго показал на Ванчо. Тот молчит. Мария со стариком замирают, испуганно смотрят на Аню. Но вот Мария проворно вскочила, улыбаясь, перешагнула на другую половину чума и опустилась на одно колено рядом с Аней.

— Ты жена Бахилая? — заглядывая ей в лицо, спросила она.

Аня смутилась, покраснела, но делать нечего, надо отвечать.

— Да, — говорит она.

— Хэ! — вырывается у Марии. — Тогда дай поцелую тебя!

Она склоняет Ане щеку, встает и, показывая рукой на Чиркова, говорит:

— Я думала, он начальник, а ты — Красный Чум! Молодец, Анванна, молодец!

— Ты, друг, по колхозу уполномоченный? — старик подтолкнул Чиркова. Не ожидая ответа, он ударил себя в грудь кулаком. — Слушай, друг, я стахановец!.. Белок, горностаев по десять турсуков добываю!.. Жену мою, Марию, спроси... Она не даст обмануть. Я не хвастаюсь, правду говорю!.. Грамот у меня — полный ящик. Значков много, медалы!.. Мария! — Он тормозит жену. — Мария! Где мои бумаги?.. Начальник хочет посмотреть мои бумаги, давай!..

— Ээ! Куда они денутся, твои бумаги? Не даст по-

человечески поговорить!.. — ворчит Мария. — Потом покажу.

Мария занялась хозяйством. В большую чашку вылила остатки кипятка, пополоскала поочередно чашки, кружки, ложки, вытерла их насухо лыком жимолости и сложила в деревянный ящик. Чайник наполнила натаившей водой и поставила на печку. Попросила Гирго нарубить помельче мясо и занести в чум. Мясо тоже надо поставить вариться. Пусть прееет на печке: утром встанут гости, будет что поесть, да и ночью, глядишь, кому понадобится подкрепиться. Мясо есть, чего его жалеть?

Перед сном мужчины вышли на улицу, занесли спальные и стали укладываться.

Ане отвели почетное место — малу, а Чиркова уложили справа от входа. Он длинный, будет куда вытянуть ноги. Тут еще маленько посмеялись. Старик разглядел, что с милиционером что-то неладное творится. Толкнул Гирго, и тот не удержался от смеха. Из спальника, еле дыша и отплевываясь, весь в шерсти вылез Чирков:

— Задохнуться можно! Как вы в них спите?

Оказывается, головой он залез туда, где должны быть ноги. Ему подсказали, как правильно лечь в мешок, и он вскоре захрапел.

Парни еще сидели, курили. Мукто рассказывал об охоте: в который раз повторял, что снег стал глубоким, собака плавает в снегу, не хочет идти по следу и что надежда теперь только на самолеты. Дикарь пришел из Заполярья; да много, как бы он к весне не увел домашних оленей. Потом говорили о погоде, о морозах, о каких-то несущественных мелочах, и лишь под конец старик вроде бы вспомнил:

— Куда тебя везут-то? — обратился он к Ванчо.

— Не знаю, — тихо ответил тот и понурился. — Сейчас в Туру, а там дальше...

— Она судила?

Ванчо молчал.

— Посадила? — с тревогой в голосе спросила Мария.

— Пятнадцать лет, — сказал Гирго.

— Нголемо!¹ Не страшно такое говорить-то! — вскрикнула Мария, но, поняв, что все это правда, вздохнула, повернулась к Ванчо. — За что? Разве ты себе брал? Когда это эвенки ворами были, ты не мог ее спросить?

¹ Нголемо — восклицание страха, типа: О ужас!

Не мог сказать, что мы вернем деньги?.. За что тебя в темный дом? Ну, я ей сейчас покажу! Не посмотрю, что она жена Бахилая!..

Мария вскочила, хотела уже шагнуть на другую половину чума, сбросить с Ани парку, но ребята усадили ее на место. Жалость к Ванчо сдавила ей сердце, и она горько расплакалась, запричитала:

— За что Ванчо в тюрьму-то? Неужто невестка Комбагиров не могла пожалеть бедного парня? Лючи никогда не жалеют людей! Пусть жена Бахилая посадит и меня с мужем!.. Мы тоже брали куль муки и табак. Но мы не бесплатно брали, вернем деньги, мы никогда не обманываем!.. Старик добудет белок, и мы вернем!.. Чего же жена Бахилая не посадила в тюрьму Ануфрия и Марию? Родню пожалела! Ануфрий больше всех брал. Муку брал, сахар, спирт пил, даже брезент брал, говоря, что у пастухов прохудились чумы. А где чумы?.. Ничего Ануфрий не сделал, брезент на складе валяется, а бедного Ванчо в тюрьму! Разве есть такой закон — невинного человека сажать? Ванчо самый правильный человек. У нас так было: есть у тебя покушать — делись с людьми. Это у лючей по-другому!.. Можно было подождать до Нового года — приедут из тайги охотники, вернут деньги!..

Мария завывала в голос.

Аня замерзла, проснулась. Не так-то просто без привычки спать на холоде, а тут еще этот крик. «Надо же? Только что целовалась со мной, теперь обвиняет в несправедливости и жестокости. Вот и делай после этого добро людям!»

Настроение и так было хоть плачь, а тут еще Мария со своими слезами... Да и Чирков хорош! Будто не знал, чем кончаются подобные угощения. Жмот, а тут раздобрился!.. Нет уж, милый, в следующий раз один пей свой спирт!..

— Бог видит правду! — голосит Мария. — Все равно вас накажет!.. Хэвэки! Помоги обиженным!.. Накажи лючей!

— Кэ! — иногда покрикивал на жену старик, борясь с собой, вскидывая упавшую на грудь голову, но Мария не слушала его, продолжала выть, вспоминая всех Духов, богов и родственников. Воеет она однообразно — не поймешь: плач не плач, песня не песня.

Ванчо и Гирго, оба маленькие, щуплые, залезли в

один мешок, ворочаются, тоже не спят. Борется с собой Маича. Но холод, видно, пробрал и Марию со стариком, оба стучали зубами. Брякнула дверца печи, это Мария подбросила сухих дров.

Аня забылась только под утро. Сколько спала — не понять, было все так же темно и холодно. Поднялась разбитая, с большой головой. Старика и парней нет. Ушли за оленями. Чирков все еще валялся в мешке, всхрапывал.

Мария уже на ногах. В сером, расшитом орнаментом зипуне, в цветастом платке, приспущенном на глаза. Как и все язычники, любят северяне яркую одежду. Глаз Мария не поднимала, не смотрела на Аню — видно, все же неловко ей за вчерашнее.

На улице мороз. Неуютно и холодно на душе. Настроение скверное.

* * *

Позвякивают колокольчики, глухо брякают ботала на шеях оленей, скрипят нарты, клубится белый пар. Эти мерные звуки становятся бесконечными и привычными. Когда надоест, можно смотреть, как смешно дергаются отростки оленьих хвостиков, мельтешат перед глазами. Бегут олени и, если их погонять, как лошадей, не остановятся, будут бежать до тех пор, пока не упадут от разрыва сердца. Не умеют они ходить шагом. Что бы делали без них люди?.. Как все-таки мудро распорядилась природа. Никого не обделила своей милостью, и Северу подарила такое замечательное животное, что не устаешь им любоваться. Олень обладает всеми лучшими качествами четвероногих друзей человека. Он, как лошадь, может перевозить тяжести, как корова, может поить густым, словно сметана, молоком, как баран — давать шерсть и шкуру, как свинья, может дарить нежное вкусное мясо и сало, и даже от корабля пустынь и песков — верблюда, — есть у оленя выносливость и неприхотливость в еде.

Для одежды олень отдает человеку свой мех — самый теплый из всех. Шкурой оленя покрывают жилища. Олень — крылья северного человека. На них люди кочат по необозримым просторам тайги и тундры. Олень всего себя отдает человеку и ничего не просит взамен.

Оленю не нужно строить теплого хлева, ему не

страшны ни жара, ни мороз. У него широкие раздвоенные копыта — он сам добывает себе корм. Нет, не даром в эвенкийских песнях самые нежные, самые красивые слова адресованы оленю, источнику жизни северного человека. Олень, как и собака, — первый друг человека. Он не продается, не покупается, его можно только дарить.

...Бегут, трусят, родимые, позвякивают колокольчиками...

Аргиш движется по огромной тундре, со всех сторон окаймленной зубчатыми хребтами гор. Висят в воздухе иглистые льдинки. Ни единого дуновения, словно понимает природа, что в такой мороз даже самый легкий ветерок — смерть всему живому.

На болотцах и озерах, по которым вьется дорога, мороз сильнее, крепче, чем в лесистой и всхолмленной тайге. Надо проскочить сегодня эту тундру, а там, в хребтах, глядишь, будет легче и оленям и людям. Где-то чуть впереди проходит невидимая граница между тайгой и лесотундрой. В той же горной гряде рождаются сотни безымянных ручьев и речушек, разбегающихся во все стороны. Одни ручейки, попетляв по склонам хребтов, слившись еще с сотней таких же, в тундре образуют дикую и необузданную реку — Котуй, несущую свои студеные воды в Ледовитый океан. Другие ручейки, сбегав с южного склона, устремляются в теплые края, к матушке-Катанге — матери рек эвенкийских... «О, Катанга — матушка рек эвенкийских! Ты из слез наших, светлых и чистых!» — поется в песне. Чистые, светлые струи в Катанге-реке, старшей сестре Ангары!..

В той, южной стороне, и лес заметно крупнее, роскошнее, кочевник всегда найдет там сухие дрова для ночлега под открытым небом.

По пути попадались звериные и птичьи следы, старые, затвердевшие. В одном месте спугнули стаю куропаток, жавшихся к кустикам голубичника. Они не взлетели даже, просто попытались разбежаться в разные стороны, но, поняв, что караван, не обращая на них внимания, проезжает мимо, снова застыли на месте.

Ночевали в палатке Ельды Елдогира, стоявшей в темном ельнике. Если б не собаки, проскочили бы мимо и не заметили. Палатка маленькая, четырехместная, еле вместила всех. Ельда — молодой симпатичный парень, по виду чуть старше Ванчо, белолицый и черно-

бровый. Лишь раскосые глаза выдавали в нем эвенка. «Метис, наверное», — подумала Аня.

Жена Ельды, Галина, — полная противоположность мужу. Маленькая, Галина, — полная противоположность мужу. Маленькая, как подросток, невзрачная, с растрепанными волосами, и к тому же, видимо, не приученная к хозяйству. В палатке всюду валялись перевернутые котлы, ведра, какие-то тряпки.

Подбросили в печку дров, и сразу стало теплее, хотя снизу и с боков несло ледяным холодом.

Пока пили чай, шел неторопливый разговор об охоте, о диких оленях, целым табуном в несколько тысяч голов прошедших через участок Ельды. Потом языки перескочили к делам на фактории. К новости о судьбе Ванчо молодые хозяева отнеслись более спокойно, чем Мукто и Мария, но тоже потупились и замолчали, не зная, что говорить.

Из неловкого положения вывел всех трехлетний Рауль. Он уже спал, когда приехали гости, но разговоры разбудили его, и он теперь разыгрался. Ползал в спальном мешке за спинами отца и матери, рычал медвежонком, «пугая» их, затем вылез, чтобы босиком выскочить на улицу.

Мать поймала его, легонько шлепнула по голой попке, затолкала обратно в мешок:

— У, поймает тебя Чулугды¹ и утащит!..

В прошлую зиму Ельда ездил за грузами в Туру и теперь объяснял Ванчо и Гирго, где лучше останавливаться на ночевки:

— От моей палатки до Бугарикты — дневной аргиш. Мы в месяц Ворона ездили, уже по теплу, солнышко вовсю сияло, и у нас перед глазами все время темнела гора Авсарук. Она точь-в-точь похожа на женскую игольницу. Сейчас-то темно, ничего не увидите. Но старинное стойбище Оёгиров никак не проедете. Там, где Бугарикта будет крутым локтем поворачивать в южную сторону, по правую руку видны остовы чумовиш, они рядом с дорогой стоят, но там не останавливайтесь, проезжайте чуть вперед, до гари. Лет тридцать назад, старики говорили, там прошел большой огонь, и теперь вырос богатый ягельник. Олени оттуда никуда не уйдут, и сушняка много...

Ельда рассказал, где сделать вторую стоянку, потом третью и так до самой Туры. Парням уже объясняли до

¹ Чулугды — одноногий, одноглазый чертик.

рогу, но послушать еще раз не помешает. Ельда называет приметы — наклоненные деревья, осыпавшиеся скалы, и эту гору Авсарук, похожую на игольницу. Парни слушают, согласно кивают. Аня знает, они непременно найдут именно то место, о котором им толкует Ельда. Не бывая ни разу в незнакомой тайге, звенки на удивление точно ориентируются по рассказам сородичей.

— А что, он ни разу в Туру не ездил? — встревожился в Сиринде Чирков, когда председатель назвал каюром Гирго.

— Я Анну Ивановну сам уговариваю подождать до тепла, когда придут сборщики пушнины, — сказал Ануфрий и добавил: — А насчет Гирго вы не беспокойтесь. Завяжите ему глаза и отпустите в незнакомой тайге — выйдет к дому. У него дедушка был — в последние годы что-то с головой у него случилось — уйдет на охоту, сядет где-нибудь покурить и забудет там то ружье, то трубку. Гирго по его рассказам всегда находил потери...

Ночью Ане снова плохо спалось. Болела голова. Дрова в печке прогорели, и в палатке стало холодно, как на улице. Аня ворочалась, сжимаясь в комочек, но ничто не помогало. Еле уснула. И приснился ей сон, будто идет она по Ленинграду, по Марсову полю, в летнем легком платье. А погода, как всегда осенью, хмурая, ветреная, со стороны Финского залива ползут тяжелые тучи, вот-вот либо дождь польет, либо снег посыплет. А почему она оказалась здесь, раздетая, понять не может. И вдруг среди редких прохожих она увидела свою мать. Аня обрадовалась, хочет остановить ее, но мать проходит мимо с авоськой в руке. «Не в гастроном ли, но почему не в наш?»

— Мама! Мама! — кричит Аня, прижимая к себе раздуваемое порывистым ветром платье, но мать не слышит, идет не оглядываясь. — Мама! Мама!.. — снова зовет она.

Проснулась Аня чуть ли не в слезах.

— Анна Ивановна, дома была? — улыбаясь, спрашивает Ельда.

— Да, маму во сне видела, — ответила Аня, догадываясь, что кричала вслух, и печально добавила: — Но она прошла мимо и не остановилась.

— Ничего, — подбодрил ее Ельда. — В отпуск с Бахилаем поедете, увидите маму... Ешьте покрепче мяса, теплее в дороге будет.

Ельда помог им запрячь оленей. Выехали раньше вчерашнего.

Дорога пошла в гору, олени с трудом вытягивали нарты. Пришлось покрикивать на бедных животных. Гирго тыкал своего передового хореем. На крутых подъемах они слезали с нарт и шагали рядом с упряжкой. Сбросили сокуи, и через какое-то время Аня почувствовала, как по размявшемуся телу разлилась приятная теплота. Впереди пыхтел Чирков.

— Во, оказывается, как надо греться-то, — сказал он на отдыхе, — а мы, дурачье, сидим, как чурки с глазами.

Высунув руки из разрезов рукавиц, пришитых к парке, Ванчо негнушимися пальцами пытался скрутить самокрутку. Он слюнявил бумагу, но она тотчас покрывалась ледяной коркой и никак не склеивалась.

— Брось ее, Ванчо, — Чирков протянул пачку «Байкала». — Закури моих.

Ванчо удивленно взглянул на милиционера: за весь путь Чирков не сказал ни единого доброго слова. Ванчо знал, что он не очень лестно отзывался о нем, говорил, мало, мол, ему дали, больше надо было вlepить за такое хищение.

— Бери, бери, у меня еще есть, — снова проговорил Чирков. — Не стесняйся.

Ванчо молча взял пачку, вытащил из нее тонкую, как гвоздик, папиросину.

— Возьми себе, — сказал Чирков, отстраняя протянутую назад пачку.

Ванчо снова промолчал. Чиркнул спичкой об дощечку и, прикурив, спрятал дощечку в кисет. А, собственно, что произошло? Подумаешь — дал закурить. У эвенков слова «спасибо» нет. Все и без спасибо последним с тобой поделаются. Может, люча начинает понимать, что Ванчо не вор, и не будет теперь смотреть на него, как на преступника?

Ванчо украдкой глядит на милиционера. Никогда еще его голова так много не думала. Он думает о своей несчастной судьбе, о том, что ждет его впереди. Понимает, какое жестокое испытание — лишение свободы —

выпало на его долю. Что может быть дороже свободы для человека? Наверное, ничего...

Однако и сочувствия, жалости он не хотел. Раз виноват — ответит. Такой ночи, как была у Мукто, ему больше не вынести. Он уже перегорел нутром, смирился со своим положением; а Мария снова все всколыхнула в душе. Хотя, если признаться, у Ванчо и так все время ноет и плачет сердце, но не оттого, что увозят его в тюрьму, нет. Разрывается сердце от жалости к матери... Только теперь он понял, кем она была для него. Вот уж кто по-настоящему жалел и любил его, так это она, мать, не знавшая в жизни ничего, кроме нужды и горя. И он, Ванчо, как бы со стороны увидел ее сейчас, одетую в старенькое, латаное-перелатаное, серое платье, неизменное с тех пор, как он помнит себя. Может, и сейчас она сидит в чуме, поджигляет огонь, беспрестанно думает о нем и украдкой роняет слезу. Сердце-то не обманешь, оно наверняка чувствует, что больше они не увидятся. Разве старуха протянет столько? Может, люча начинает понимать это?..

Ванчо затягивается папиросой, пускает белый дым и снова взглядывает на милиционера. «Может, он тоже ничего, нормальный мужик, не разобрались в нем покуда?» Облегченно вздыхает. Его коричневое лицо светлеет, словно что-то обмякло внутри.

Покурив, Ванчо сплевывает в снег и берет хорей. Олени тотчас трогают с места.

Гирго ждет, пока передний караван отъедет, поправляет постромки на Аниной упряжке, ругаясь, отталкивает в сторону диковатого, не приученного ходить запряженным передового. Он все время бежит с уздою вна Тяжку, и оленям Гирго приходится почти тащить его за собой.

Выехали на продолговатое озеро, вытянувшееся дугой подле хребта. И тут впервые за нынешнюю зиму увидели сказочное и жутковатое зрелище — северное сияние. В Полночной Стороне неба светились и запереливались волнами необыкновенные разноцветные полосы. Они, как гигантские столбы, перекачивались по всему горизонту, то появляясь, то исчезая. Всем стало тревожно и страшно, забеспокоились даже олени, поглядывая на небо. Они-то что чувствуют?..

— Боги веселятся!.. Это отблески их костров! — кричит Гирго.

«Надо же, и это по-своему объясняют», — думает Аня.

У берега что-то гулко ухает — обваливается лед в образовавшиеся пустоты. Олени вздрагивают, озираются, настороженно водят ушами. Их испуг передается людям. Невольно закрадываются всякие страшные мысли, мерещатся Злые Духи, нечистые силы. Неуютным и таинственным кажется белое это безмолвие. Как все-таки мал и ничтожен человек перед неизвестными силами природы! Не хочешь, да поверишь во всякую чертовщину.

Любой шорох, любой звук вызывают страх и подозрительность. Полное безмолвие, и это зловещее разноцветное небо. Откуда, как и что это?.. Как мало мы еще знаем. И не верится, что где-то есть места, где всего этого не видят и не знают, что где-то есть шумные, сверкающие огнями города, где люди торопятся в магазины, театры, кино и, вообще, невозможно себе представить, что где-то сейчас изнывают от жары!..

А здесь — вон какие дикие отблески гигантских костров пирующих и веселящихся на небе богов; вон луны одето в «рукавицы», словно и она знает, что надо одеваться теплее, иначе обморозиться можно. Луна заметно подросла за прошедшие две ночи, а к концу путешествия засияет во все «лицо». Тускло мерцают звезды — это к морозам.

«Говорят, у каждого человека есть своя звезда. Интересно, есть ли там, в этой необъятной Вселенной, моя звезда? — Мысли Ани перескакивают на звезды. — Если есть, то где?.. Вон Полярная звезда, вон созвездие Большой Медведицы, вон Венера... У эвенков всем им даны свои названия. Неужели они, как древние греки, уже не одно тысячелетие живут под этими звездами, смотрят друг на друга? Звезды, наверное, все заняты другими людьми. Да и они такие холодные, а я мерзлячка, значит, мне нужны теплые южные звезды. Стоп!.. Чего это я? Есть же, есть здесь теплая звезда. Если она и занята кем-то другим, ничего, пусть и моей будет. Ее сейчас не видно, но, как луна станет полной, она появится рядом с ней. И, главное, эта звезда отгоняет мороз. Эвенки ее называют Собачкой Луны, Отгоняющей Мороз. Где ты сейчас, добрая Собачка? Слышишь, я загадываю на тебя. Появись скорее рядом с луной, отгони мороз и почаще гуляй в небе — может, с тобой не такими лютыми станут здешние зимы. Вот опять стынут ноги и руки, где

ты, добрая Собачка, Отгоняющая Мороз, появишься скорее!»

Аня очнулась от дум. Надо, пожалуй, пробежаться. О несбыточном можно мечтать сколько угодно. Теперь даже нечего ждать, что услышишь лай настоящих собак. Не пахнёт теперь и таким желанным запахом дыма, не обозначится на фоне звездного горизонта темный силуэт чума с живительным огнем и душистым чаем. Теперь тепло придется добывать самим.

Аня кричит Гирго, и вскоре они уже бегут рядом со своими нартами.

Остановились на ночлег там, где и толковал им Ельда. Ванчо с хореем в руке, как с посохом, прошел к темнеющей коряжине, осмотрел место и велел Гирго отпустить оленей.

Началась борьба за тепло. Спасеньем может стать только большой костер. Для ночевки под открытым небом надо уйму толстых, желательно с корневищами, дров. Они долго не прогорают и дают больше жару.

Ванчо застучал топором по толстой лиственнице. Потом его сменил Чирков. С отдыхами, перекурами перерубили дерево в трех местах и, утопая по пояс в снегу, перетаскали к коряжине. Аня собирала подручные дрова, благо их тут было много.

Управившись с оленями, Гирго тоже занялся костром. Отвязав от грузовой нарты деревянную лопату, прихваченную с собой для таких случаев, он расчистил снег вокруг коряжины. Потом сходил к высокой ели, наломал сухих веток с лишайником. Достал заранее запасенную бересту, чиркнул спичкой. Огонь нехотя лизнул бересту, помедлил, словно о чем-то раздумывая, исчез и вдруг неожиданно вспыхнул на седом лишайнике, затем береста занялась пламенем. Сделали таган и навесили на нем котел со снегом. Натает вода, и можно будет ставить чай, варить мясо.

Занялись приготовлением места для ночевки. Нарубили маленьких елушек, часть из них пригодится для подстилки на землю, остальные надо поставить позади огня, на куче снега, чтобы они не давали расходиться теплу.

Работают молча, споро. Даже Чирков пыхтит, шевелится, знает, что так теплее.

Горячим чаем чуточку отогрели души. Аня не стала ждать, пока сварится мясо, решила лечь в спальник — у нее разламывалась голова.

Парни осмотрели ее мешок и предложили свой. Их вроде бы поновее, шерсть не так сильно обтерлась. Аня попробовала было отказаться, но они и слушать не стали. Ты — люча, не привыкшая спать на снегу, да притом больная. Затолкали ее в мешок, подоткнули со всех сторон. И точно, спальник оказался теплее. Застывшее тело стало понемногу отходить, Аня незаметно уснула...

И снова пришли разные тревожные сны. Опять видела мать, отца, Василия. Мать за что-то ругала Аню, кричала, а за что — не понять. И что удивительно, кричал и отец. Аня пыталась переспросить, а он только раскрывал рот и размахивал руками. Ане стало так обидно, что она заплакала. Отец исчез, но появился Василий. Они шли по какому-то саду, где полно яблок.

— Хочешь, тебе сорву? — спрашивает Василий.

— Ты что? С ума сошел? — удивляется Аня, хотя самой так хочется попробовать яблочко.

— Подожди. — Не слушая ее, Василий бежит к яблоне и начинает ее трясти. — Подбирай!..

Василий трясет, а яблоки почему-то не падают. Аня смотрит на дерево, и ее разбирает смех.

— Ну, разве не дикий ты тунгус, не дремучий ты человек! — подшучивает она над мужем. — Не можешь яблоню отличить от березки!..

Оглянулась — никого... И вдруг стало жарко-жарко. Где я?.. Да это же Артек, вои, как свечки, стоят знакомые кипарисы. И Нина Рязанова. А она-то что здесь делает? Она же из Ленинграда никуда уезжать не хотела. Надо позвать ее искупаться. Аня через голову снимает платье и хочет бежать к Ясковой изумрудной воде, но, глянув на себя, огорчается — на ней снова какое-то платье в горошек. Аня уже вся мокрая, с усилием стягивает его с себя, глядь, — снова одетая... Да что же это такое? — чуть не плачет она. Опять начинает снимать. А солнце, солнце-то — как настоящая печка!..

Просыпается она вся в поту. Слабость. Уж не заболела ли она всерьез? Вот некстати-то.

Сон не принес ей отдохновения.

Костер почти погас, горящих углей не видно, все ко-

стрище покрылось серым пеплом. Ванчо и Гирго, скрючившись, дремали сидя. «Надо же», — в который раз позавидовала им Аня.

В вышине гасли последние звезды. Наступало морозное серое утро.

Днем, опершись на хорей, как на посох (Ванчо так отдыхал), он ткнул рукой в темнеющий горб хребта:

— Вот Авсаг-гора!.. Оттуда наша дорога покатится к Катанге.

* * *

У той горы все и произошло.

Остановились на перекур. Поменяли олеңей у Чиркова — больно тяжелый он для упряжки, выдыхаются быстро бедняги. «Породистый Нос!» — как-то сказал о нем Зарубин.

Чирков отошел к толстой листовнице, на нижнем суку которой висели лоскутки разноцветных материй — жертвоприношения Духам и божеству Экшэри.

— По всей тайге поразвесили тряпок, а самим ходить не в чем. — Он сдернул черный суконный лоскут. — Совсем новая, на портянки годится.

— Не надо трогать, — мрачно сказал Ванчо. — Харги рассердится. Грех!..

— Какой грех? Вбили себе в голову всякую чушь и верите! — ответил Чирков.

— Не троньте, Чирков! Зачем вам, уж не думаете ли обматывать себе ноги? — рассердилась Аня и с укором добавила: — Невоспитанный вы человек, Николай Васильевич!..

— Мы институтов не кончали, мы их на пузе проползли! — со значением и словно гордясь собою, произнес Чирков, сверкнув глазами.

— Простая порядочность не требует институтского образования. Уважайте веру других.

Чирков отбросил тряпку в сторону.

— Для этого она вам была нужна? — Аня недоуменно посмотрела на милиционера. Ванчо и Гирго осуждающе промолчали. Чирков как ни в чем не бывало вернулся на дорогу, бросив:

— Чушь все это, Анна Ивановна!

«Что-то недопонимает Чирков в своем отношении к местным жителям, — думала Аня. — Или он так воспи-

тан, что теперь, как по пословице: горбатого могила исправит? Не хотелось бы в это верить».

Здесь, у подножия горы, не было тумана, дышалось легко и глазам было просторнее. Куда ни глянь — всюду далекие очертания хребтов. Как все-таки велик Север! Сколько еще такого безжизненного пространства! Месяц могут бежать олени, скрипеть нарты, и не встретишь ни одного клочка обжитой земли!.. А тут еще целый час надо крутиться на одном месте, Аня запомнила эту гору, когда ехали в Сиринду. Дорога змейкой будет виться вокруг хребта, пока не обогнет его полностью. А наверху будет виднеться заснеженный Авсарук, или Авсаг-гора.

Олени Ванчо бежали ходко, и он не заметил, как дорога повернула в распадок. Начался крутой спуск. По-доброму-то, конечно, упряжки нужно было спускать по одной, но поздно хватился Ванчо, олени разбежались, раскатились нарты. Надо бы крикнуть милиционеру, чтобы тормозил, но не без понятия же он, должен сообразить, что делать. Ванчо изо всех сил навалился на хорей, тормозит. Вдруг раздался треск — хорей сломался. Ванчо упал с нарты, невольно дернув за узду. Олени резко свернули в снег. Задняя упряжка, на которой ехал Чирков, чтобы не наступить на Ванчо, шархнула в сторону. И тут, как на беду, на пути упряжки стала лиственница...

Тяжелые нарты с ходу грохнулись о дерево, оно задрожало, посыпалась хвоя со снегом. Раздался жуткий крик — это нарта развалилась на две части. Чирков успел только выкинуть вперед руку, защитить голову, но страшный удар пришелся по колену, и он отлетел в снег, под грузовые нарты. Олени шархнулись от него, боясь наступить, но упряжные ремни не дали им отскочить подальше, нарта ударила им по ногам, чем-то зацепилась за Чиркова и перевернулась. Следом опрокинулись и грузовые нарты.

Треск, сумасшедший звон ботал и колокольчиков, хрипы и шумное дыхание слились воедино. Бились, барахтались на снегу олени, пытаясь подняться, но не могли — мешали друг другу. Ванчо подскочил к ним, ножом полоснул по упряжному ремню, душившему передового оленя. Тот, перестав хрипеть, поднялся на ноги. Отряхиваясь от снега, встали и остальные. Чирков все еще лежал под нартами.

Гирго в самом начале спуска успел остановить свой караван.

Никто не знал, что теперь делать, все были подавлены случившимся. Чирков зашевелился, сбросил с себя нарту и, сморщившись от боли, с матюками напустился на Ванчо:

— Ты куда, падла, своими щелками смотрел!.. Убить захотел, да?

— Чирков, перестаньте! — закричала на него Аня. — Вставайте!

— Черта с два встанешь! — сморщился снова Чирков. — Он нам еще покажет, — кивнул в сторону Ванчо. Аня подошла к милиционеру и охнула: нога его была неестественно вывернута. Ванчо хотел подправить ее, но Чирков скривился и застонал. Тот боязливо отпрянул. Было ясно, что нога сломана. Что теперь с ним будет?.. Ванчо и Гирго, казалось, лишились речи. Страх застыл в их глазах. Они убеждены были, что это кара Злых Духов за осквернение святого места настигла милиционера.

— Ну что же вы стоите-то? Делайте что-нибудь! — чуть не плача, закричала Аня.

Ее крик вывел парней из оцепенения, и они бросились к Чиркову, помогли ему сесть на нарту.

— Хана мне! — сплевывая в снег, мрачно произнес милиционер. Он слезил в карман телогрейки, достал свою фляжку, выпил, заев снегом.

Парни осмотрели полозья сломанной нарты, прикидывая, отремонтировать ее или нет. Решив, что чинить не стоит, освободили для Чиркова одну из грузовых. Святали порванные ремни и лямки.

— Поедем до дров, — хмуро сказал Ванчо.

В тот день рано стали на ночевку. Парни очистили место от снега, бросили туда две оленьи шкуры. Втроем с трудом уложили Чиркова в мешок, сверху накрыли сокуями и забросали снегом — лежи, пока добудем огонь.

Ванчо с Гирго старались изо всех сил, не обращая внимания на мороз. Отпустив оленей, они нарубили и наворочали толстых дров, коряжин. Работали так, что от них валил пар. Уже в сумерках на снегу запылал огонь, отпугнув уродливые тени и тревожные думы.

Ванчо где-то нашел доску от старой плашки и стал обтесывать ее топором. Как потом выяснилось — плас-

тины для ноги милиционера. Откопали его из-под снега и пожалели — зря потревожили, в тепле он спал, как куропатка. Не даром птицы в лютые морозы зарываются в снег. Подтащили стонущего Чиркова к костру, дали горячего чаю и, не снимая унтов, осмотрели ногу. Крови не было, это уже лучше. Может, не перелом, всего лишь вывих? Попробовали ощупать руками, Чирков застонал. Нет, все же худшее — перелом. Сверху бакаря приладили две пластины и привязали их к ноге.

Ночь для Ани прошла почти без сна, ее донимал холод. Рядом под снегом стонал Чирков. Мучительной для всех была эта ночь. Лишь под утро, когда ковш Большой Медведицы переместился на другой край неба, Аня залезла в мешок и ее, как и Чиркова, Гирго забросал снегом.

Спала или нет, Аня не помнит, очнулась от отчаянного крика:

— Анна Ивановна! Анна Ивановна! Вставайте!.. Они, сволочи, бросили нас!.. Зарыли в снег — и концы в воду!.. Бросили замерзаты!..

Послышалась дикая матерщина.

«Неужели Ванчо решил на это? — похолодело у нее внутри. — Сами замерзли, скажут. Так Духам хотелось, наказал их, и совесть свою будут считать чистой!»

Аня поспешно вылезла из «куропаточьего чума». Холодина. Трещат деревья. Костер потух. Нарты на месте — чуть отлегло, может, и не бросили их ребята. Нервы, нервы сдают у Чиркова.

Он продолжал материться. Неожиданная злость на него охватила Аню. «Не ной, как баба, — захотелось ей крикнуть. — Что, за шкуру свою трясешься, трус несчастный? Если парни и бросили нас, то только из-за тебя. Даже вчера кричал и оскорблял Ванчо, а не мог, дурак, своими куриными мозгами сообразить, что только от него и зависит теперь наша жизнь!»

— Нету их! Смылись, сволочи! — орал Чирков.

— Перестаньте! — сказала Аня, едва сдерживаясь. — Они за оленями ушли!.. — И сама поверила в это.

— Слышно было бы!..

— Значит, олени наши далеко разбрелись!..

Аня пошевелила ногой головни в костре. Поднялся пепел, и мелькнули красные искорки. Она бросила сухих веток, стала усердно раздувать огонь. Ветки задымились.

Смутная тревога, зародившаяся в душе, снова ожила и стала разрастаться. Вчера в это время они уже были в пути. Где же Ванчо с Гирго? А тишина такая, что дух захватывает, стынёт сердце. Чирков навел смуту и теперь снова зарылся в снег, а тут думай что хочешь. Аня всматривалась в темный лес, прислушивалась к звенящей тишине, и ее не покидала тревога, казалось, что кто-то невидимый и огромный украдкой следит за нею, порой она даже ощущала на себе чей-то тяжелый взгляд, и когда из темноты раздавался шорох, она мгновенно оборачивалась, невольно хватаясь рукою за бок, где у нее был спрятан пистолет. Нервы!..

Высунулся из снега Чирков и, дрожа от холода, с надеждой спросил:

— Не пришли еще?

Уныло, с тоской поглядел на Аню и, не дожидаясь ответа, спрятал обратно голову.

Одолевали мрачные, тяжелые мысли. «А что, если оленей разогнали волки? Мало ли, что может случиться в тайге. И вдруг ребята и в самом деле бросили нас?»

Аня отгоняла эту страшную мысль, и чтобы не думать, изо всех сил принялась приплясывать возле костра. Слух ее уловил что-то вроде звона колокольчика. «Почудилось», — подумала она. Через минуту снова зазвякнули колокольчики, и тут она отчетливо услышала говор ботал и шумное дыхание оленей. Зашуршал снег. В миг слетела тяжесть с души. Окружающий мир, такой неласковый и холодный, словно посветлел, смягчился. Как далеко слышно! Лишь минут через пять среди деревьев показались темные силуэты.

— Николай Васильевич, вставайте! — радостно закричала Аня. — Вставайте, едут!..

Снег зашевелился. Высунулась голова Чиркова. На него страшно было смотреть: обросшее щетиной лицо осунулось, заострилось, остались один нос да глаза.

— Чуть не лишились оленей, — сказал Гирго, подходя к ним. — Волк тут живет, старый. Его, видно, выгнали из стаи, один он. Задавил важенку, чонггой — башмак; ей не дал убежать, и сразу набросился на еду. Доходяга... Остальных мы еле догнали.

«Беда не ходит одна, — вяло думала Аня. — Неужто, еще что-то случится? Может, это Мария Мукто накликала нам беду? О, господи, так можно и верующей статье Дикость какая...»

Но не Злые Духи и не проклятия Марии тут были виновной. Суровая природа и судьба, видно, решили сполна испытать их.

Днем у Ани порвался бакарь, наверное, тогда, когда бежала по ручью, где было много обнаженных корней и острых камней. Нога стала сильно мерзнуть. В дыру набился снег, спрессовался и теперь холодит.

«Выдержу ли до ночлега? — осмотрев ногу, прикинула Аня. — Может, остановить аргиш и попросить развести костер?.. Но стоит ли по таким пустякам останавливаться? Скажут, шевелись больше и не будешь мерзнуть. Ведь и так поздно выехали, да и волк близко... Гирго рассуждал: „Глупые олени, нет чтобы кормиться рядом с нами, где ягель, они бегут куда-то, вот и напоролись на волка. Хорошо, что беззубый попался, а то остались бы мы без упряжек. Не отпугать их — еще хуже будет, упадут с голода. Хэ, если б кто-нибудь менял нам уставших оленей на свежих, как Кордую, мы бы тоже уже в Туре были...” Парни, бедные, выбиваются из сил, сколько уже нормально не спали... А Чиркову, наверное, и правда «хана», не чувствует ногу...»

Надо пробежаться.

Крикнула Гирго, и они побежали рядом с упряжками. Аня держалась за спинку нарты, старалась сильнее топтать ногой, выбить оттуда снег. От долгого бега она почти задохнулась, но желанного тепла не наступило, наоборот, нога словно одеревенела, стала совсем непослушной.

«Сообщат домой, что я замерзла в тайге, что будет!.. — с тоской подумала Аня. — Невозможно даже представить. Бедная мама... Не выдержит ее сердце такого удара. И отцу, конечно, достанется. Мама не простит ему, что разрешил дочери уехать на Север. «На погибель, на тот свет!» — будет кричать ему мама. До конца дней будет пилить!..»

Что-то кольнуло в груди, помутилось в голове, поплыли в глазах какие-то радужные круги. Аня чуть не упала, левую ногу она почти не чувствует, машинально переставляет, как деревянную «Неужели конец? — похолодело внутри. — Шутки шутками, но ведь можно и в самом деле превратиться в сосульку! Как это страшно, несправедливо...»

Холод лишил ее воли, от отчаяния на глазах выступили слезы. Она громко всхлипнула. Гирго удивленно

оглянулся, дернул повод, позвал Ваңчо. Аня упала на нарты и расплакалась.

— Солнечная невестка плачет? — удивился Ванчо, но, посмотрев на бакарь, упрекнул: — Что же молчала-то?

Аня ничего не ответила, она все плакала и плакала.

Ванчо огляделся — кругом тундра, до дров далеко. Гирго, нахохлившись, как воробей, испуганно молчал. «Не расплата ли Злых Духов настагает и Солнечную невестку?» — думал он.

Ванчо отошел к своему каравану, отвязал важенку, бежавшую позади без пары, вернулся с нею и вынул нож. «Что он хочет делать?» — с тупым безразличием подумала Аня.

Ванчо приставил острие ножа к затылку важенки и резко ткнул. Та, как подкошенная, упала в снег и забилась, задергала ногами. Гирго уже стоял с котелком, он сразу догадался, в чем дело. Про этот древний способ он слышал. Ванчо воткнул нож в горло оленюхе, приподнял зарога голову и подставил котелок. Потекла темная жидкость. Наполнив половину, отвернул голову вбок, и кровь перестала течь. От котелка шел пар.

Ванчо стал трясти Аню за плечи, а она никак не могла понять, чего он хочет.

— Пей! — он поднес котелок к ее лицу.

— Да вы что? С ума сошли! — с отвращением еле выговорила она. Язык отказывался шевелиться.

— Жить хочешь — пей! — снова, как приказание, прозвучали слова Ванчо.

Аня зажмурилась и прикоснулась к щиплющему языку металлу. Сделала два глотка. Затошнило, теплая кровь не лезла в горло. Ванчо снова закричал на нее и силой заставил выпить еще немного. Потом он подвел ее к оленюхе.

— Снимай! — кивнул на бакарь.

Гирго помог Ане, а Ванчо, распоров важенке живот, опять приказал:

— Засовывай туда!

Аня молча подчинилась. Холод окончательно сковал ее мысли, заморозил волю. «Делайте, что хотите», — безразлично думала она. Парни кое-как, с трудом затолкали в живот оленихи негнущуюся, посиневшую ногу. «Так делай», — Гирго показал, как нужно массажировать. Аня сунула туда руку и лишь ею ощутила тепло,

а нога была как не своя. Начала гнуть, ломать пальцы, тереть — нога ничего не чувствовала. Ванчо помогал ей. Лишь через несколько минут по ноге вроде бы забежали мурашки, потом появилась отдаленная ноющая боль, и Аня поняла — нога оживает. Боль становилась все острее и острее.

— Мама! — закричала Аня.

— Терпи! — повеселел Ванчо.

Живая кровь сделала свое дело. Нога стала более послушной. Постепенно ослабла и боль. Ванчо вытащил ногу и стал растирать снегом. Нога покраснела, запульсировала в ней кровь. Ванчо вытер ее насухо, надел шерстяной носок, завернул портянку и натянул сверху меховой чулок. Потом даже бакарь обмотали тряпкой, чтобы больше не попадал снег.

По всему телу разлилось удивительное тепло и приятная легкость. Оживились глаза.

— Ванчо, спасибо, ты спас меня, — сказала Аня.

Тот промолчал. Снял шкуру с важенки, вынул теплую печень и, отрезая кусочки, почти не жуя, стал глотать их. Один кусочек он протянул Ане:

— Ешь!

Она не стала отказываться.

Наконец собрались в дорогу. Аню посадили в мешке на нарту.

— Смотри не вывались! — предупредил Гирго.

И опять заскрипели полозья, зазвенели колокольчики на шеях оленей. «Песня» убаюкала Аню, и она не заметила, как задремала.

Очнувшись от тупой боли в пояснице и слабости во всем теле. Впереди слышались хриплые стоны Чиркова. «Что теперь будет с нами?» — с тоской подумала она.

* * *

Остальную дорогу она припоминает смутно и отрывочно. Несколько раз Ванчо с Гирго зарывали их в снег, откапывали, поили горячим чаем, и Аня снова проваливалась в забытие, как в какую-то пропасть. Перепутались дни и ночи. Чтобы Аня и Чирков не сваливались с нарт, их привязывали маутами.

И скрипели полозья, щелкали олени ноги, ритмичную дробь отбивали копыта.

— Солнечная невестка! Солнечная невестка! Ты живая? — время от времени тормозил ее Гирго.

...Окончательно Аня пришла в себя только в больнице. Открыла глаза, увидела белую стену и невольно подумала: «Где это я? Опять в снегу?» Повернув голову, разглядела Василия, сидящего рядом на стуле. Он улыбнулся ей:

— Хорошо, что проснулась.

— А где Ванчо с Гирго? — тотчас спросила она.

— В лесу с оленями, кормить их уехали, — успокоил ее Василий.

Аня прикрыла глаза, и ей опять показалось, что она — на нартах. Опять заскрипели полозья, забрякали ботала... Снова взглянула на мужа и... расплакалась.

— Ну, ну, не надо, все теперь позади, — ласково сказал Василий.

Аня дала волю слезам. Ей хотелось многое рассказать мужу, но слезы сдавили горло, она едва смогла вымолвить:

— Я не могу здесь работать судьей... Не могу...

— Успокойся, Анята. Все хорошо... ты привыкнешь. — Василий погладил жену по золотым волосам. — Ты у меня молодец... Солнечная невестка...

* * *

А период Хугдарпи только еще набирал силу. В тот год вымерзли до дна озера и реки. Задохлась рыба, зачоченели птицы. Морозы отступили только в марте, в месяц Ворона.

Вспоминаешь и думаешь: что только не случалось в тайге в те далекие пятидесятые годы. Теперь-то, конечно, нелепым кажется в такие морозы гнать куда-то оленей... Но тогда это нужно было. И все равно — непонятными были те люди. Зачем им надо было испытывать Хугдарпи — Время Глубокого Снега и Больших Холодов?

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ

- 6 Мне снятся небесные олени
- 150 Солнечная невестка

Альберт Николаевич
Немтушкин
(Алитет Немтушкин)

МНЕ СНЯТСЯ НЕБЕСНЫЕ ОЛЕНИ
Повести

Редактор Т. Мирзоян
Художник Н. Стасевич
Художественный редактор О. Червцова
Технический редактор В. Тушева
Корректоры О. Добромыслова, И. Попова

ИБ № 4381

Сдано в набор 15.10.86. Подписано к печати 20.01.87. А07513. Формат 84X108¹/₂. Гарнитура литер. Печать высокая. Бумага тип. № 3. Усл. печ. л. 11,76. Усл. кр.-отт. 12,18. Уч.-изд. л. 12,22. Тираж 50 000 экз. Заказ 1448. Цена 1 р. 20 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР

123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Книжная фабрика № 1 Росглаволиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли, 144003, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25